

IV. Тюрьма

- Глава 1. Совершенные и строгие заведения
- Глава 2. Противозаконности и делинкветность
- Глава 3. Карцер

Глава 1. Совершенные и строгие заведения

Тюрьма родилась раньше, нежели полагают те, кто связывает ее возникновение с принятием новых кодексов. Форма тюрьмы существовала раньше, чем ее начали систематически использовать в уголовном праве. Она образовалась вне судебного аппарата, когда по всему телу общества распространились процедуры, направленные на распределение индивидов, их закрепление в пространстве, классификацию, извлечение из них максимума времени и сил, муштру тел, регламентацию всего их поведения, содержание их в полной видимости, окружение их аппаратом наблюдения, регистрации и оценки, а также на создание накапливаемого и централизованного знания о них. Общая форма аппарата, призванного делать индивидов послушными и полезными посредством тщательной работы над их телами, обрисовала институт тюрьмы еще до того, как закон определил его как основное средство наказания. На рубеже XVIII-XIX веков действительно существовало наказание в форме тюремного заключения, и оно было внове. Но на самом деле уголовно-правовая система просто открылась механизмам принуждения, уже разработанным ранее на другом уровне. «Модели» уголовного заключения (Гент, Глочестер, Уолнат Стрит) являются скорее первыми видимыми точками этого перехода, нежели инновациями или отправными пунктами. Тюрьма, существенно важный элемент арсенала наказаний, безусловно знаменует важный момент в истории уголовного правосудия: его приближение к «гуманности». Но она является и важным моментом в истории дисциплинарных механизмов, развиваемых новой классовой властью, – моментом, когда эти механизмы захватывают институт правосудия. На рубеже столетий новое законодательство определяет власть наказывать как общую функцию общества, которая применяется равным образом ко всем его членам и в которой равно представлены все индивиды. Но посредством превращения заключения в основное средство наказания новое законодательство вводит процедуры господства, характерные для конкретного типа власти. Правосудие, выдающее себя за «равное» для всех, и судебный аппарат, выглядящий как «автономный», но содержащий в себе все асимметрии дисциплинарного подчинения, – такое соединение знаменует рождение тюрьмы, формы «наказания в цивилизованных обществах»[402]. Можно понять, почему тюрьма как форма наказания очень рано приобрела характер очевидности. В первые годы XIX века еще было ощущение ее новизны. И все же понимание ее глубинной связи с самим функционированием общества почти сразу же заставило забыть все прочие наказания, придуманные реформаторами XVIII века. Казалось, будто ей нет альтернативы, будто она принесена током истории: «Не случайность, не прихоть законодателя сделали заключение фундаментом и едва ли не всем зданием современной шкалы наказаний, а прогресс идей и смягчение нравов»[403]. И хотя через столетие с небольшим ощущение очевидности тюрьмы как формы наказания преобразилось, оно не исчезло. Известны все недостатки тюрьмы. Известно, что она опасна, если не бесполезна. И все же никто «не видит», чем ее заменить. Она – отвратительное решение, без которого,

видимо, невозможно обойтись.

«Очевидность» тюрьмы, с которой нам так трудно расстаться, основывается прежде всего на том, что она – простая форма «лишения свободы». Как же тюрьме не быть преимущественным средством наказания в обществе, где свобода – достояние, которое принадлежит равным образом всем и к которому каждый индивид привязан «всеобщим и постоянным» чувством?[404] Лишение свободы, следовательно, имеет одинаковое значение для всех. В отличие от штрафа, оно – «уравнительное» наказание. В этом своего рода юридическая ясность тюрьмы. Кроме того, тюрьма позволяет исчислять наказание в точном соответствии с переменной времени. Тюремное заключение может быть формой отдачи долга, что составляет в промышленных обществах его экономическую «очевидность» – и позволяет ему предстать как возмещение. Взяв время осужденного, тюрьма наглядно выражает ту мысль, что правонарушение наносит вред не только жертве, но и всему обществу. Можно говорить об экономикоморальной очевидности уголовнонаказуемого поступка, позволяющей исчислять наказание в сутках, месяцах и годах и устанавливать количественное соотношение между характером правонарушения и длительностью наказания. Отсюда выражение, столь часто употребляемое, столь соответствующее принципу действия наказаний, хотя и противоречащее строгой теории уголовного права: в тюрьме сидят, чтобы «заплатить долг». Тюрьма естественна, как «естественно» в нашем обществе использование времени в качестве меры отношений обмена.

Но очевидность тюрьмы основывается также на ее (предполагаемой или требуемой) роли машины для преобразования индивидов. Как можно не принять тюрьму без колебания, если, заточая, исправляя и делая послушными, она просто чуть более акцентированно воспроизводит все те механизмы, что уже присутствуют в теле общества? Тюрьма подобна строгой казарме, школе без поблажек, мрачной мастерской; в определенных рамках она качественно не отличается от них. Это двойное обоснование – юридическо-экономическое и технико-дисциплинарное – делает тюрьму самой адекватной и цивилизованной формой наказания. И именно это двойное действие[405] сразу же обеспечило тюрьме ее прочность. Ясно одно: тюрьма не была сначала лишением свободы, к которому позднее добавилась техническая функция исправления. С самого начала она была формой «законного заключения», несущего дополнительную исправительную нагрузку, или предприятием по изменению индивидов, которое может действовать в правовой системе благодаря лишению свободы. Словом, тюремное заключение с начала XIX века означает одновременно и лишение свободы, и техническое преобразование индивидов.

Вспомним некоторые факты. В кодексах 1808 и 1810 гг. и ближайших к ним мерах заключение никогда не смешивается с простым лишением свободы. Оно является (или, во всяком случае, должно являться) дифференцированным и целесообразным механизмом. Дифференцированным – поскольку заключение должно иметь различную форму, в зависимости от того, является ли заключенный осужденным или просто обвиняемым, мелким правонарушителем или преступником: различные типы тюрьмы – следственный изолятор, исправительная тюрьма, центральная тюрьма – в принципе должны более или менее соответствовать этим различиям и обеспечивать наказание, не только градуированное по силе, но и разнообразное по целям. Ведь у тюрьмы есть цель, установленная с самого начала: «Закон, вменяющий наказания различной степени

серьезности, не может допустить, чтобы индивид, приговоренный к легкому наказанию, был заключен в том же помещении, что и преступник, приговоренный к более тяжелому наказанию... хотя основной целью определенного законом наказания является искупление вины за совершение преступления, оно направлено также на исправление виновного»[406]. И это преобразование должно быть одним из внутренних результатов заключения. Тюрьма – наказание, тюрьма – аппарат: «Порядок, который должен царить в домах заключения, может значительно способствовать перерождению осужденных; пороки, обусловливаемые воспитанием, заразительность дурного примера, праздность... приводят к преступлению. Так попытаемся же устранить все эти источники порчи. Пусть в домах заключения действуют правила здоровой морали. И осужденные, принуждаемые к труду, в конечном счете полюбят его; вкусив плоды своего труда, они обретут привычку, вкус к труду, потребность в нем. Пусть они являют друг другу пример трудовой жизни; скоро их жизнь станет нравственно чистой; скоро они пожалеют о прошлом, а это первый признак обретенного чувства долга»[407]. Исправительные методы сразу становятся частью институциональной структуры тюремного заключения.

Необходимо также напомнить, что движение за реформу тюрем, за контроль над ними началось не в последнее время. Видимо, оно даже не стало результатом признания неудачи. Тюремная «реформа» – ровесница тюрьмы: она предстает как своего рода программа тюрьмы. С самого начала тюрьма окружена рядом сопутствующих механизмов, которые вроде бы призваны ее усовершенствовать, но в действительности составляют часть ее функционирования, – настолько тесно они связаны с существованием тюрьмы на протяжении всей ее долгой истории. Это подробная технология тюрьмы, разработанная при ее возникновении. Это были работы Шапталя[408] (который хотел установить, что нужно для внедрения тюремного аппарата во Франции, 1801) и Деказа[409] (1819), книга Виллермэ[410] (1820), доклад о центральных тюрьмах, составленный Мартиньяком[411] (1829), исследования, предпринятые в Соединенных Штатах Бомоном и Токвилем (1831), Деметцем и Блюэ (1835), опросы руководителей тюрем и генеральных советов, проведенные Монталивэ в самый разгар диспута об одиночном заключении. Это были общества, имевшие целью контроль над тюрьмами и предложение мер по их улучшению (в 1818 г. было совершенно официально учреждено Общество улучшения тюрем, чуть позднее – Общество тюрем и различные филантропические группы). Это были бесчисленные меры – указы, инструкции или законы: от реформы, предусмотренной первой Реставрацией в сентябре 1814 г., но так никогда и не проведенной, до закона 1814 г., подготовленного Токвилем и на какое-то время закрывшего долгий спор о способах достижения эффективности тюрьмы. Это были программы, направленные на улучшение функционирования тюремной машины[412]: программы обращения с заключенными, денежного вознаграждения их труда, материального обустройства; некоторые из них так и остались проектами (например, программы Данжу, Блюэ, Гару-Ромэна), другие воплотились в инструкциях (циркуляр от 9 августа 1841 г. о строительстве следственных тюрем) или в архитектурных сооружениях (тюрьма Петит Рокет, где впервые во Франции было введено камерное заключение).

К этому надо добавить публикации, более или менее прямо исходившие из тюрьмы и подготовленные филантропами (такими, как Аппер[413]), или, несколько позднее, «специалистами» (например, «Анналы Милосердия»[414]), или бывшими заключенными («Бедняга Жак» в конце Реставрации или «Газета Святой Пелагеи»[415] в начале Июльской

монархии)[416].

Не следует рассматривать тюрьму как инертный институт, время от времени встряхиваемый реформистскими движениями. «Теория тюрьмы» была скорее устойчивой совокупностью рабочих инструкций тюрьмы, нежели ее случайной критикой, и составляла одно из условий ее функционирования. Тюрьма всегда была частью активного поля, где в изобилии множились проекты переустройства, эксперименты, теоретические дискурсы, личные свидетельства и исследования. Вокруг института тюрьмы всегда было много слов и стараний. Можно ли утверждать, что тюрьма – темная и забытая область? Являются ли достаточным доказательством обратного последние 200 лет? Становясь законным наказанием, тюрьма нагроутила старый юридическо-политический вопрос о праве наказывать всеми проблемами, всеми ожиданиями, связанными с технологиями исправления индивидов.

* * *

«Совершенные и строгие заведения», – заметил Балтар[417]. Тюрьма должна быть исчерпывающим дисциплинарным аппаратом в нескольких отношениях. Она должна отвечать за все стороны жизни индивида, его физическую муштру, приучение к труду, повседневное поведение, моральный облик и наклонности. Тюрьма «вседисциплинарна» в значительно большей степени, чем школа, фабрика или армия, всегда имеющие определенную специализацию. Кроме того, у тюрьмы нет ни внешней стороны, ни лакун; ее нельзя приостановить, за исключением тех случаев, когда ее задача полностью выполнена; ее воздействие на индивида должно быть непрерывным: нескончаемая дисциплина. Наконец, тюрьма обеспечивает практически полную власть над заключенными. Тюрьма имеет собственные внутренние механизмы подавления и наказания: деспотическая дисциплина. Она доводит до наибольшей интенсивности все процедуры, действующие в других дисциплинарных механизмах. Она должна быть мощнейшим механизмом навязывания испорченному индивиду новой формы; способ ее действия – принудительное тотальное воспитание. «В тюрьме начальство располагает свободой личности и временем заключенного. Это позволяет понять силу воспитания, которое не один день, но ряд дней и даже лет диктует человеку время бодрствования и сна, деятельности и досуга, число и продолжительность приемов пищи, качество и количество еды, вид и продукт труда, время молитвы, пользование словом и даже, так сказать, мыслью. Воспитание посредством простых и коротких переходов из столовой в мастерскую, из мастерской в камеру регулирует движения тела, причем даже в моменты отдыха, и устанавливает распорядок дня. Словом, воспитание овладевает человеком в целом, всеми его физическими и моральными качествами и временем, в котором он пребывает»[418]. Этот полный «реформаторий» обеспечивает перекодировку существования, весьма отличную от простого юридического лишения свободы и от простого механизма поучений, о котором мечтали реформаторы эпохи Идеологии.

Первый принцип – изоляция. Изоляция осужденного от внешнего мира, от всего, что было мотивом правонарушения, от соучастия, которое облегчило его совершение. Изоляция заключенных друг от друга. Наказание должно быть не просто индивидуальным, но индивидуализирующим. Это достигается двумя способами. Прежде всего, само устройство тюрьмы должно ликвидировать пагубные последствия, к которым она приводит, собирая вместе очень разных заключенных: тюрьма должна пресекать заговоры и бунты, препятствовать сближению возможных будущих сообщников, которое может породить шантаж (после освобождения), препятствовать аморальности многочисленных «загадочных союзов». Короче говоря, тюрьма не должна допустить, чтобы собранные в ней преступники составили однородное и сплоченное население: «Сегодня среди нас существует организованное общество преступников... Народ в народе. Почти все эти люди встретились и встречаются друг с другом в тюрьмах. Это общество мы должны рассеять»[419]. Кроме того, поскольку одиночество располагает к размышлениям и угрызениям совести, которые непременно возникают, оно должно быть положительным инструментом реформы: «Оказавшись в одиночестве, заключенный размышляет. Оставшись наедине с совершённым преступлением, он приучается его ненавидеть, и если душа его еще не закоснела во зле, то именно в одиночестве его настигнут муки совести»[420]. Благодаря тому же факту одиночество обеспечивает своего рода саморегулирование наказания и делает возможной его спонтанную индивидуализацию: чем больше заключенный способен к размышлению, тем больше он чувствует себя виновным в преступлении, и чем живее его раскаяние, тем болезненнее для него будет одиночество. Зато когда он глубоко раскается и изменится к лучшему, причем без тени разрушения личности, одиночество перестанет угнетать его: «Таким образом, следуя этой замечательной дисциплине, всякое размышление и всякая мораль содержат в себе принцип и меру подавления, неотвратимость и неизменную справедливость которых не могут отменить ни ошибка, ни человеческая греховность... Разве нет на ней печати божественного и провиденциального правосудия?»[421] И наконец (а может быть, это главное), изоляция заключенных гарантирует, что на них можно максимально эффективно воздействовать властью, которая не будет опрокинута никаким иным влиянием; одиночество – первое условие полного подчинения. «Только представьте себе, – говорил Шарль Люка, имея в виду роль воспитателя, священника и “милосердных людей” относительно изолированного заключенного, – только представьте себе силу человеческого слова, раздающегося посреди ужасающей дисциплины молчания и обращенного к сердцу, душе, к личности человека»[422]. Изоляция обеспечивает разговор с глазу на глаз между заключенным и воздействующей на него властью.

Именно вокруг этого момента вращается дискуссия о двух американских системах заключения: обернской и филадельфийской. В сущности, эта дискуссия, столь широкая и долгая[423], касается лишь практики применения изоляции, с целесообразностью которой все согласны.

Обернская модель предписывает одиночную камеру ночью, совместную работу и общий обед, но при условии абсолютного молчания. Заключенные могут говорить только с надзирателями с разрешения последних и вполголоса. Здесь очевидно родство с монастырской моделью; вспоминается также фабричная дисциплина. Тюрьма должна быть совершенным обществом в миниатюре, где индивиды изолированы в их нравственной жизни, но объединяются в жесткой иерархической структуре, исключая «боковые»

отношения и допускающей общение лишь по вертикали. Сторонники обернской системы усматривали ее преимущество в том, что она – повторение самого общества. Принуждение в ней осуществляется материальными средствами, но главное – посредством правил, которые надо научиться соблюдать, что обеспечивается надзором и наказанием. Вместо того чтобы держать заключенных «под замком, словно свирепых зверей в клетке», надо собирать их вместе, «заставлять их сообща участвовать в полезных упражнениях, принудительно прививать им хорошие привычки, предупреждать нравственную заразу активным надзором и поддерживать внутреннюю собранность соблюдением правила молчания». Это правило приучает заключенного «рассматривать закон как святую заповедь, нарушение которой может повлечь справедливое и законное наказание»[424]. Таким образом, изоляция, объединение без общения и закон, гарантированный непрерывным надзором, призваны возродить преступника как общественного индивида. Эти операции муштруют его для «полезной и смиренной деятельности»[425] и возрождают в нем «привычки члена общества»[426].

При абсолютной изоляции (требуемой филадельфийской моделью) перевоспитание преступника основывается не на применении общего права, а на отношении индивида к собственному сознанию и на том, что может озарить его изнутри[427]: «Один в своей камере, заключенный предоставлен самому себе. При молчании собственных страстей и окружающего мира он погружается в свою совесть, вопрошает ее и ощущает, как в нем пробуждается нравственное чувство, которое никогда не умирает полностью в человеческом сердце»[428]. Итак, на заключенного воздействуют не внешнее соблюдение закона и не один только страх перед наказанием, а работа его сознания, его совесть. Скорее глубоко прочувствованное подчинение, чем поверхностная муштра: изменение «нрава», а не привычек. В пенсильванской тюрьме единственными исправительными факторами являются сознание и немая архитектура, с которой оно сталкивается. В тюрьме Черри Хилл «стены наказывают за преступление, камера приводит заключенного к самому себе, он вынужден слушать свою совесть». Поэтому те, кто работает здесь, скорее утешают, чем обязывают. Надзирателям не приходится принуждать, ибо принуждает материальность вещей, а потому заключенные могут признать авторитет надзирателей: «При каждом посещении камеры несколько доброжелательных слов срываются с честных уст надзирателя и наполняют сердце узника благодарностью, надеждой и утешением; он любит своего стража, потому что тот ласков и сострадателен. Стены ужасны, а человек добр»[429]. В замкнутой камере, этом временном склепе, легко материализуются мифы о воскресении. После тьмы и молчания – возрожденная жизнь. Обернская модель – само общество в его сути. Черри Хилл – жизнь уничтоженная и возрожденная. Католичество быстро перенимает в своих дискурсах эту технику квакеров. «Я воспринимаю вашу камеру лишь как ужасный склеп, где вместо червей вас начинают точить муки совести и отчаяние, которые превращают вашу жизнь в преждевременный ад. Но... то, что для заключенного-безбожника всего лишь могила, отвратительная погребальная яма, для заключенного – истинного христианина становится колыбелью блаженного бессмертия»[430].

Противопоставление этих двух моделей порождает ряд различных конфликтов: религиозный (должно ли обращение в веру являться основным элементом исправления?), медицинский (сводит ли с ума полная изоляция?), экономический (какой метод дешевле?), архитектурный и административный (какая форма гарантирует наилучший надзор?).

Несомненно, именно поэтому их спор длился так долго. Но центром спора, его сердцевинной является первоочередная цель тюремного воздействия: принудительная индивидуализация путем разрыва всех связей, не контролируемых властью и не выстроенных в иерархическом порядке.

2

«Работа, чередующаяся с перерывами на обед и ужин, сопровождает заключенного вплоть до вечерней молитвы. Сон дает ему приятный отдых, который не тревожат призраки расстроенного воображения. Так проходят шесть дней недели. Затем наступает день, посвященный исключительно молитве, просвещению и благотворным размышлениям. Так сменяют друг друга недели, месяцы, годы. Так заключенный, который пришел в тюрьму неустойчивым или уверенным лишь в собственном внезакопии и влекомым к гибели разнообразными пороками, понемногу, в силу привычки (вначале чисто внешней, но вскоре становящейся его второй натурой), настолько привыкает к работе и приносимым ею радостям, что, если только мудрое наставление откроет его душу раскаянию, можно не бояться его столкновения с соблазнами, подстерегающими его, когда он наконец вновь обретет свободу»[431]. Работа наряду с изоляцией предстает как инструмент тюремного исправления. И это уже начиная с кодекса 1808 г.: «Цель вменяемого законом наказания не только расплата за преступление, но и исправление преступника. Эта двойная цель может считаться достигнутой, если преступник оторвется от пагубной праздности, которая не только привела его в тюрьму, но настигает его и там, чтобы овладеть им и довести до предельной развращенности»[432]. Работа не дополнение и не корректив к режиму заключения: будь то на каторжных работах, при отбывании одиночного заключения, в тюрьме – законодатель расценивает работу как крайне необходимое дополнение этого режима. Но дело в том, что вовсе не эту необходимость имели в виду реформаторы XVIII века, стремившиеся сделать работу примером для публики или полезной компенсацией для общества. В тюремном режиме связь между работой и наказанием совсем иная.

Споры, имевшие место в эпоху Реставрации и Июльской монархии, проливают свет на роль, отводимую труду заключенных. Прежде всего спорили о заработной плате. Во Франции работа заключенных оплачивалась. И возникала проблема: если их работа оплачивается, то, в сущности, она не может быть частью наказания, а следовательно, заключенный может отказаться ее выполнять. Более того, заработная плата вознаграждает умение рабочего, а не исправление виновного. «Самые отпетые негодяи практически повсюду – самые умелые рабочие. Их труд самый высокооплачиваемый, а потому они самые распущенные и меньше всего склонны к раскаянию»[433]. Эта дискуссия (никогда полностью не затухавшая) возобновляется с большой живостью в 1840–1845 гг., в период экономического кризиса и рабочих волнений, в период, когда к тому же начинает выкристаллизовываться оппозиция рабочих правонарушителям[434]. Происходят забастовки против тюремных мастерских. Когда один перчаточник из Шомона сумел организовать мастерскую в тюрьме Клерво, рабочие запротестовали, заявили, что их цех опозорен, захватили фабрику и вынудили хозяина отказаться от проекта[435]. Кроме того, развернулась широкая кампания в рабочих газетах: писали, что правительство поощряет работу в тюрьме с целью понизить зарплату «свободных» рабочих; что еще более очевиден вред, наносимый тюремными мастерскими женщинам: ведь лишая работы и толкая на проституцию, их обрекают на тюрьму, где те

самые женщины, у которых отняли работу на свободе, начинают конкурировать с теми, у кого работа пока еще есть[436]; что заключенным отдается самая хорошая работа («в теплом помещении воры работают шляпниками и краснодеревщиками», а безработный шляпник вынужден идти «на человеческую бойню и изготавливать свинцовые белила за 2 франка в день»[437]); что условия труда заключенных волнуют филантропов гораздо больше, чем условия труда свободных рабочих. «Мы уверены, что если бы заключенные работали с ртутью, то наука куда быстрее, чем сейчас, взялась бы за поиски средств защиты от ее опасных испарений. “Бедные заключенные!” – воскликнет тот, кто едва ли замолвит словечко за позолотчиков. Чего же ждать? Надо убить или украсть, чтобы пробурить сострадание или интерес». А главное – что если тюрьма постепенно превращается в фабрику, то недолго уже ждать того момента, когда туда отправят нищих и безработных и тем возродят старые французские богадельни или английские работные дома[438]. Кроме того, были петиции и письма, особенно после принятия закона 1844 г.; в одной из них, отвергнутой Парижской палатой депутатов, говорилось, что «бесчеловечно предлагать использовать убийц и воров на работах, в которых нуждаются сегодня тысячи рабочих», что «палата депутатов предпочла нам Варраву»[439]. Узнав, что в тюрьме города Мелена должна быть устроена типография, печатники написали письмо министру: «Вы должны сделать выбор между отщепенцами, справедливо наказанными законом, и гражданами, самоотверженно и честно отдающими свои дни поддержанию собственных семей и преумножению богатства родины»[440].

Но реакция правительства и администрации на все эти протесты была практически неизменной. Тюремный труд нельзя критиковать за то, что он якобы вызывает безработицу: ведь его распространение столь незначительно, а производительность столь низка, что он не может серьезно влиять на экономику. Он полезен как таковой, не как производственная деятельность, а как средство воздействия на человеческий механизм. Труд – начало порядка и регулярности; навязывая свои требования, он незаметно распространяет формы жесткой власти. Он подчиняет тела размеренным движениям, исключает волнение и отвлечение, насаждает иерархию и надзор, которые тем легче воспринимаются заключенными и тем глубже укореняются в их поведении, что являются частью его собственной логики: ведь вместе с трудом «правило вводится в тюрьму, оно царит там без усилия, без применения репрессивных и грубых средств. Обязывая заключенного трудиться, ему прививают привычку к порядку и послушанию; прежнего лентяя превращают в прилежного и активного человека... со временем он обретает в монотонном порядке тюрьмы и ручном труде, который ему навязывают... надежное лекарство против разгула воображения»[441]. Принудительный тюремный труд должен расцениваться как тот самый механизм, который преобразует грубого, возбужденного и безрассудного заключенного в деталь, исполняющую свою роль безукоризненно точно. Тюрьма – не мастерская; она является, она должна быть машиной, а заключенные-рабочие – ее винтиками и продуктами; она «занимает их постоянно с единственной целью заполнить каждый момент их жизни. Когда тело разгорячено трудом, когда ум занят, назойливые мысли уходят прочь, покой снова рождается в душе»[442]. Если вообще можно говорить об экономическом результате тюремного труда, то он состоит в производстве механизированных индивидов, соответствующих общим нормам индустриального общества: «Работа – судьба современных людей; она заменяет им мораль, заполняет пустоту, оставленную верой, и считается началом всякого блага. Работа должна быть религией тюрем. Обществу-машине требуются

чисто механические средства преобразования»[443]. Изготовление людей-машин, но и пролетариев; действительно, когда у человека есть только «пара рук, готовых к любой работе», он может жить лишь «продуктом своего труда, ремеслом, или же продуктом труда других, воровством»; но, хотя тюрьма не заставляла правонарушителей работать, труд, по-видимому, был внедрен в самый ее институт в том числе косвенно, посредством налогообложения, этого способа существования некоторых за счет труда других: «Проблема праздности здесь та же, что в обществе; заключенные живут трудом других, если не работают сами»[444]. Труд, который помогает заключенному удовлетворить свои нужды, превращает вора в послушного рабочего. В этом состоит польза оплаты труда заключенных; она навязывает заключенному «моральную» форму заработка как условие его существования. Заработок прививает «любовь и привычку» к труду[445], рождает у злодеев, не знающих различия между «моим» и «твоим», чувство собственности по отношению к тому, что «заработано в поте лица»[446], научает людей, привыкших к мотовству и разгулу, добродетелям бережливости и предусмотрительности[447]; наконец, предполагая выполнение определенного количества работы, заработок позволяет количественно выразить усердие заключенного и его успехи на пути к исправлению[448]. Оплата тюремного труда не вознаграждает за производство, но служит двигателем и мерой преобразования индивида: она – юридическая фикция, поскольку свидетельствует не о «свободной» передаче рабочей силы, а об уловке, которая считается эффективным методом исправления.

В таком случае, что же дает тюремная работа? Не прибыль и даже не формирование полезного навыка; она создает отношение власти, пустую экономическую форму, схему подчинения индивида и приспособления его к производственному аппарату.

Совершенный образец тюремного труда – женская мастерская в Клерво, где молчаливая точность человеческого механизма напоминает уставную строгость монастыря: «На кафедре под распятием восседают монахини. Перед ней в два ряда заключенные выполняют порученную им работу. Поскольку вся работа производится с помощью иглы, постоянно царит строжайшая тишина... Создается впечатление, что в этих залах все дышит епитимьей и искуплением. Невольно переносишься во времена достойных обычаев сей древней обители, вспоминаешь о каявшихся грешницах, которые добровольно затворялись здесь, навсегда прощаясь с миром»[449].

3

Но тюрьма идет дальше простого лишения свободы в более важном смысле. Она все больше становится инструментом модулирования наказания; аппаратом, который в процессе порученного ему исполнения приговора имеет право по крайней мере частично определять его принцип. Конечно, институт тюрьмы не получил этого «права» ни в XIX, ни даже в XX столетиях – если не иметь в виду его фрагментарную форму, выражающуюся в таких наказаниях, как условное лишение свободы, полусвобода с принудительным трудом, организация реформатория. Но необходимо заметить, что тюремная администрация уже очень давно добивалась этого права, утверждая, что оно является условием хорошего функционирования тюрьмы и успешного решения задачи исправления, поставленной перед ней самим правосудием.

То же самое верно о продолжительности наказания: тюрьма позволяет точно рассчитывать наказания, градуировать их в зависимости от обстоятельств и придавать наказанию более или менее явную форму расплаты. Но продолжительность наказания не будет иметь никакой исправительной ценности, если она раз и навсегда установлена приговором. Длительность наказания не должна быть мерой «меновой стоимости» правонарушения; она должна зависеть от «полезного» изменения осужденного за время отбывания срока. Мера – не время, а время, сообразуемое с конечной целью. Скорее операция, чем расплата. «Точно так же как хороший врач прекращает или продолжает лечение в зависимости от того, достиг ли больной полного излечения, искупление должно завершаться с полным исправлением заключенного; ведь в этом случае заключение становится бесполезным, а кроме того, не просто бесчеловечным по отношению к исправившемуся, но и пустой тратой государственных средств»[450]. Следовательно, оптимальная продолжительность наказания должна исчисляться не только в зависимости от вида преступления и сопутствовавших ему обстоятельств, но и исходя из поведения заключенного в процессе отбывания наказания. Иными словами, наказание должно быть индивидуальным и определяться не только индивидуальностью правонарушителя (юридического субъекта поступка, несущего ответственность за преступление), но и индивидуальностью наказываемого, объекта контролируемого преобразования, индивида, заключенного в тюремную машину, измененного ею или реагирующего на нее. «Дело не только в перевоспитании злодея. По завершении перевоспитания преступник должен вернуться в общество»[451].

Качество и содержание заключения больше не должны определяться только природой правонарушения. Юридическая тяжесть преступления вовсе не обладает ценностью однозначного свидетельства о характере осужденного, поддающемся или не поддающемся исправлению. В частности, различие между гражданским правонарушением и уголовным преступлением, которому в уголовном кодексе соответствует различие между простым лишением свободы и лишением свободы вкупе с каторжными работами, не является решающим с точки зрения исправления. Таково почти общее мнение директоров тюрем, выраженное в ходе опроса, проведенного министерством юстиции в 1836 г.: «Мелкие правонарушители, как правило, самые порочные... Среди уголовников многие совершили преступление из ревности или отчаявшись обеспечить большую семью». «Уголовники ведут себя гораздо лучше, чем мелкие правонарушители. Они покорнее, трудолюбивее последних, чаще всего – жуликов, плутов, распутников и лентяев»[452]. Отсюда мысль, что строгость наказания не должна быть прямо пропорциональна тяжести совершенного преступления и не должна оставаться неизменной.

Как исправительная операция, заключение предъявляет свои требования и представляет определенную опасность, а именно результаты отбывания заключения должны определять его этапы, периоды временного ужесточения и последующего смягчения; то, что Шарль Люка назвал «подвижной классификацией моральных качеств». Во Франции часто защищали прогрессивную систему, применявшуюся в Женеве с 1825 г.[453]. Она принимала форму, например, трех тюремных корпусов: испытательного для всех заключенных, карательного и поощрительного (для тех, кто встал на путь исправления)[454], или четырех фаз: периодов устрашения (лишение работы и всякого внутреннего или внешнего общения), работы (изоляция, но при этом труд, который после фазы вынужденной праздности

воспринимается как благо), морального наставления (более или менее частые «собеседования» с директорами и должностными лицами) и коллективной работы[455]. Хотя принцип наказания определяется, безусловно, решением суда, управление его исполнением, его качество и строгость должны диктоваться автономным механизмом, контролирующим результаты наказания изнутри той самой машины, что их производит. Весь режим наказаний и вознаграждений не только заставляет соблюдать тюремный распорядок, но и добивается эффективного воздействия тюрьмы на узников. Сама судебная власть начинает это признавать: «Не следует удивляться, – заявил кассационный суд, когда обсуждался проект закона о тюрьмах, – идее вознаграждений, которые состоят большей частью в даровании денег, в улучшенном питании или сокращении срока. Если что-нибудь и может пробудить в сознании заключенных понятия добра и зла, привести их к размышлениям о морали и хоть немного возвысить в собственных глазах, то это возможность получить вознаграждение»[456].

И надо признать, что судебные инстанции не имеют прямой власти над всеми теми процедурами, что корректируют наказание в процессе его исполнения. Ведь они, по определению, представляют собой меры, которые принимаются только после вынесения приговора и могут быть продиктованы не правонарушениями, а чем-то иным. Поэтому персонал, управляющий содержанием в тюрьме, должен располагать необходимой автономией в вопросе индивидуализации наказания и изменения режима отбывания или срока: надзиратели, директор тюрьмы, священник или воспитатель выполняют эту корректирующую функцию лучше, чем те, в чьих руках находится власть судебная. Именно их суждение (понимаемое как констатация, диагноз, характеристика, уточнение и дифференцирующая классификация), а не приговор в форме установления виновности, должно служить основанием для внутреннего изменения наказания – для его смягчения или даже приостановки. Когда в 1846 г. Бонневиль представил проект временного освобождения из тюрьмы по специальному разрешению, он определил его как «право администрации с предварительного согласия судебной власти временно освобождать полностью исправившегося заключенного после отбывания срока, достаточного для искупления вины, при условии, что он будет водворен обратно при малейшей обоснованной жалобе»[457]. Весь «произвол», при прежнем судебном режиме позволявший судьям модулировать наказание, а государям – прерывать его по собственной воле, весь этот произвол, который современные кодексы отняли у судебной власти, постепенно восстанавливается на стороне власти, управляющей наказанием и контролирующей его. Верховная власть знания, принадлежащего стражу: «Он – настоящий магистрат, призванный суверенно править в доме... и чтобы не потерпеть неудачу в своей миссии, он должен сочетать выдающуюся добродетель с глубоким знанием людей»[458].

И здесь мы приходим к принципу, четко сформулированному Шарлем Люка. Хотя сегодня весьма немногие юристы решились бы признать его без некоторого колебания, он знаменует основное направление современного функционирования уголовной системы; назовем его Декларацией тюремной независимости. В нем утверждается право тюремных властей не только на административную автономию, но и на участие в верховной власти наказывать. Утверждение прав тюрьмы определяется следующими принципами. Уголовный приговор – произвольная единица; ее необходимо разложить. Составители уголовных кодексов справедливо различали уровень законодательства (классификация преступлений

и установление соответствующих наказаний) и уровень суда (вынесение приговора). Сегодня задача состоит в том, чтобы проанализировать, в свою очередь, судебный уровень. В нем необходимо выделить собственно судебное (оценивать не столько действия, сколько деятелей, учитывать «намерения, придающие человеческим поступкам столь различные моральные качества», а следовательно, по возможности исправлять оценки законодателя), а также обеспечить автономию «тюремного суждения» (это, пожалуй, самое важное). По сравнению с последним суждение суда – лишь «предварительное», поскольку нравственность преступника можно оценить, «только подвергнув ее испытанию». «Следовательно, оценка судьи, в свою очередь, требует обязательного корректирующего контроля, и этот контроль обеспечивается тюрьмой»[459].

Итак, можно говорить о перевесе (одном или многих) в заключении тюремной стороны над собственно правовой – о перевесе «тюремного» над «судебным». Этот перевес наблюдался издавна, с самого рождения тюрьмы, как в форме реальной практики, так и в форме проектов. Он не возник впоследствии, как вторичный результат. Грандиозная тюремная машина была связана с самим функционированием тюрьмы. Признаки ее автономии совершенно явственны в «бесполезном» насилии надзирателей и деспотизме администрации, пользующейся всеми привилегиями замкнутого пространства. Корни ее в другом: именно в том, что от тюрьмы требовали быть «полезной», что лишение свободы – юридическое изъятие идеальной собственности – с самого начала должно было играть положительную техническую роль: служить преобразованию индивидов. Для этой операции аппарат карцера использует три великие схемы: политико-моральную схему изоляции и иерархии, экономическую модель силы, приложимую к принудительному труду, и технико-медицинскую модель излечения и нормализации. Камера, цех, больница. Тот край, где тюрьма перевешивает лишение свободы, заполняется методами дисциплинарного типа. Это дисциплинарное дополнение к юридическому и есть то, что кратко называют «пенитенциарным».

* * *

Дополнение не было принято с легкостью. Прежде всего, речь шла о принципе: наказание должно быть только лишением свободы. Как и наши нынешние правители, но весьма убедительно об этом говорит Деказ: «Закон должен следовать за осужденным в тюрьму, куда он его привел»[460]. Но очень скоро – что характерно – этим спорам суждено было вылиться в битву за контроль над пенитенциарным «дополнением». Судьи потребовали для себя права надзора над тюремными механизмами: «Моральное просвещение узников требует участия многих помощников; оно возможно лишь посредством инспектирования, наблюдательных комиссий и шефства благотворительных обществ. Стало быть, необходимы помощники и вспомогательные механизмы, и обеспечить их должно судебное ведомство»[461]. К тому времени тюремный порядок стал уже достаточно прочным, и вопрос о его разрушении не стоял; речь шла о том, как установить над ним контроль. Появляется судья, охваченный желанием к тюрьме. Век спустя рождается внебрачный и уродливый ребенок: судья по исполнению наказаний.

Но если исправительное (пенитенциарное) благодаря его «перевесу» над лишением свободы сумело не только упрочиться, но даже поймать в ловушку всю уголовную юстицию и «заклечь» самих судей, то это произошло потому, что оно смогло ввести уголовное правосудие в отношения знания, которые с тех пор стали для него бесконечным лабиринтом.

Тюрьма, место исполнения наказания, является также местом наблюдения над осужденными индивидами. Наблюдения в двояком смысле: конечно, как надзора, но и как познания каждого заключенного, его поведения, глубинных наклонностей, хода его постепенного исправления. Тюрьмы должны рассматриваться как места формирования клинического знания о заключенных. «Пенитенциарная система не может быть априорной концепцией; она – результат индукции, опирающейся на общественное состояние. Есть моральные расстройства и недуги, метод лечения которых зависит от очага болезни и направления ее распространения»[462]. Должны работать два основных механизма. Необходимо поместить заключенного под постоянный надзор; всякое сообщение о нем должно быть записано и учтено. Тема паноптикона – одновременно надзора и наблюдения, безопасности и знания, индивидуализации и суммирования, изоляции и прозрачности – обрела в тюрьме привилегированное место практического осуществления. Хотя паноптические процедуры как конкретные формы отправления власти получили чрезвычайно широкое распространение, по крайней мере в их рассеянных формах, полное материальное воплощение утопия Бентама могла получить только в исправительных заведениях. В 1830–1840 гг. паноптикон стал архитектурной программой большинства тюремных проектов. Он самым непосредственным образом выражал «разумность дисциплины в камне»[463], делал архитектуру прозрачной для отправления власти[464], делал возможной замену силы или насильственных принуждений мягкой эффективностью тотального и беспримесного надзора, упорядочивал пространство в соответствии с недавней гуманизацией кодексов и новой пенитенциарной теорией: «Власть, с одной стороны, и архитектор – с другой, должны знать, на чем надо основывать тюрьмы – на принципе более мягких наказаний или же на системе исправления виновных в соответствии с законодательством, которое, добираясь до главной причины людских пороков, становится началом возрождения добродетелей, коими следует руководствоваться»[465].

Короче говоря, задача паноптикона – создать тюрьму-машину[466] с насквозь просматриваемой камерой, где заключенный оказывается словно «в стеклянном доме греческого философа»[467], и с центральным пунктом, откуда неотрывный взор может контролировать заключенных и персонал. Появилось несколько вариаций строгой изначальной формы Бентамова паноптикона: полукруг, крестовидная структура или звездообразное строение[468]. В 1841 г., в разгар дискуссий, министр внутренних дел напоминает о фундаментальных принципах: «Центральный зал надзора – стержень системы. Без центрального надзирательного пункта нельзя обеспечить постоянный и всеобщий контроль, поскольку невозможно полностью полагаться на деятельность, усердие и ум охранника, который непосредственно надзирает за камерами... Поэтому архитектор должен сосредоточить все свое внимание на этом объекте. Это вопрос как дисциплины, так и экономии. Чем совершеннее надзор и проще его осуществление, тем меньше придется уповать на прочность стен как препятствие побегам и общению между заключенными. Но надзор будет совершенным, если из центрального зала директор или главный надзиратель

сможет видеть, не сходя с места и оставаясь невидимым, не только двери всех камер и даже не только происходящее почти в каждой из них (когда их незастекленные двери отворены), но и надзирателей, охраняющих заключенных на всех этажах... Кольцеобразная или полукруглая форма тюрьмы позволяет видеть из одного центра всех заключенных в камерах и надзирателей в коридорах»[469].

Но исправительный паноптикон был также системой индивидуализирующей и непрерывной документации. В том самом году, когда рекомендовали различные варианты бентамовской схемы для строительства тюремных зданий, стала обязательной система «морального учета»: во всех тюрьмах был введен индивидуальный бюллетень единого образца, в который директор, старший надзиратель, священник или воспитатель должны были заносить свои наблюдения и замечания о каждом заключенном: «Своего рода справочник тюремной администрации, позволяющий оценить каждый случай, каждое обстоятельство, а значит, подобрать индивидуальный режим для каждого заключенного»[470]. Было продумано и испытано много других, гораздо более полных систем регистрации[471]. Их общая цель состояла в том, чтобы сделать тюрьму местом конституирования знания, призванного регулировать ход исправительной практики. Тюрьма должна не только знать приговор судей и приводить его в исполнение в соответствии с установленными правилами, она должна непрерывно извлекать из заключенного знание, которое позволит преобразовать судебную меру в тюремно-исправительную операцию, которое превратит положенное по закону наказание в полезное для общества перевоспитание заключенного. Автономия тюремного режима и создаваемое им знание усиливают полезность наказания, что возводится кодексом в самый принцип его карательной философии: «Директор не должен терять из виду ни одного заключенного, поскольку, в каком бы корпусе заключенный ни находился, входит ли он, выходит или же остается в нем, директор должен всякий раз обосновать, почему держит его в конкретном разряде или переводит в другой. Он настоящий бухгалтер. Каждый заключенный для него, в плане индивидуального воспитания, – капитал, вложенный в интересах исправления»[472]. Как в высшей степени совершенная и тонкая технология, исправительная практика обеспечивает проценты с капитала, вложенного в тюремную систему и строительство монументальных тюрем.

Между тем правонарушитель становится индивидом, подлежащим познанию. Требование знания, способствующего лучшему обоснованию приговора и определению истинной меры виновности, было вписано в судебный акт не сразу. Правонарушитель становится объектом возможного знания именно в качестве осужденного, как точка приложения карательных механизмов.

Но это предполагает, что тюремный аппарат со всей своей технологической программой производит любопытную замену: из рук правосудия он принимает осужденного; но воздействовать он должен, конечно, не на правонарушение и даже не на правонарушителя, а на несколько иной объект, определенный переменными величинами, которые, по крайней мере с самого начала, не были учтены в приговоре, поскольку они имеют отношение исключительно к исправительной технологии. Этот другой персонаж, которым тюремный аппарат заменяет осужденного правонарушителя, – делинквент.

Делинквента необходимо отличать от правонарушителя, поскольку его характеризует не столько его действие, сколько сама его жизнь. Пенитенциарная операция, чтобы завершиться подлинным перевоспитанием, должна заполнить собой всю жизнь делинквента, сделать из тюрьмы своего рода искусственный и принудительный театр, где его жизнь будет пересмотрена с самого начала. Законное наказание основывается на деянии, методика наказания – на жизни. Следовательно, именно эта методика должна восстановить все отвратительные подробности в виде знания; принудительным путем изменить его последствия и восполнить пробелы. Это биографическое знание и техника исправления индивидуальной жизни. Наблюдение за делинквентом «должно охватывать не только обстоятельства, но и причины содеянного им преступления; они должны быть обнаружены в истории его жизни, рассмотренной с тройственной точки зрения психологии, общественного положения и воспитания, с тем чтобы установить соответственно его опасные наклонности, пагубные предрасположения и дурное прошлое. Прежде чем стать условием классификации моральных качеств в пенитенциарной системе, биографическое исследование является существенной частью судебного следствия, направленного на классификацию наказаний. Оно должно сопровождать преступника из суда в тюрьму, где директор обязан не только принять его, но и дополнить, проконтролировать и отчасти исправить в период отбывания заключения»[473]. За правонарушителем, которому расследование обстоятельств может вменить ответственность за правонарушение, стоит делинквент, чье постепенное формирование показывается биографическим исследованием. Введение «биографического» имеет важное значение в истории уголовно-правовой системы. Ведь оно устанавливает, что «преступник» существовал еще до преступления и даже вне его. И поэтому психологическая причинность, дублируя юридическое вменение ответственности, спутывает его последствия. Тут мы вступаем в «криминологический» лабиринт, из которого пока еще не выбрались: всякая определяющая причина, уменьшая ответственность, клеймит правонарушителя как еще более страшного преступника и требует еще более строгого наказания. Поскольку биография преступника дублирует в уголовно-правовой практике анализ обстоятельств, предпринимаемый для оценки тяжести преступления, границы уголовного и психиатрического дискурсов смешиваются; и здесь, на месте их соединения, образуется понятие «опасного» индивида, которое позволяет установить сеть причинных связей в масштабе всей биографии и вынести приговор о наказании – исправлении[474].

Делинквента следует отличать от правонарушителя еще и потому, что он не просто автор своих действий (ответственный на основании определенных критериев свободной и сознательной воли), но связан со своим правонарушением целым клубком сложных нитей (инстинктами, импульсами, наклонностями, характером). Пенитенциарная техника основывается не на таком отношении между «автором» и преступлением, но на родстве между преступником и преступлением. Делинквенты, единичные проявления глобального феномена преступности, подразделяются на якобы естественные классы, каждый из которых имеет собственные определенные характеристики и требует особого исследования. Такое исследование Марке-Вассело в 1841 г. назвал «Этнографией тюрем». «Осужденные, – писал он, – это народ в народе. Народ со своими обычаями, инстинктами и нравами»[475]. Мы еще очень близки здесь к «живописанию» мира злодеев – к старой традиции, которая уходит далеко в прошлое и возродилась с новой силой в первой половине XIX века, когда восприятие иной формы жизни связывали с жизнью другого класса и другого человеческого

вида. Зоология социальных подвидов и этнология цивилизаций злодеев, с их особыми обычаями и особым языком, зарождались в пародийной форме. Однако предпринимались также усилия по созданию новой объективности, в которой преступник принадлежит к типологии, одновременно естественной и отклоняющейся от нормы. Делинквентов, это патологическое отклонение в человеческом виде, можно рассматривать как болезненные синдромы или чудовищно уродливые формы. Классификация Феррюса представляет собой, несомненно, один из первых образцов превращения старой «этнографии» преступления в систематическую типологию делинквентов. Конечно, этот анализ слаб, но он совершенно четко открывает тот принцип, что делинквентность следует классифицировать не столько с точки зрения закона, сколько с точки зрения нормы. Имеется три типа осужденных. Осужденные, чьи «интеллектуальные возможности превышают установленный нами средний уровень», но были испорчены либо самим своим «психологическим складом» и «врожденной предрасположенностью», либо «пагубной логикой», «отвратительным нравом» и «опасным отношением к общественным обязанностям». Те, кто принадлежит к этой категории, требуют изолированного содержания и днем и ночью, прогулок поодиночке, а когда невозможно избежать контакта с другими заключенными, следует надевать им «легкую металлическую сетку, вроде тех, что используются при шлифовке камней или в фехтовании». Вторая категория – осужденные «порочные, недалекие, тупые или пассивные, которые втянулись в зло по причине безразличия к позору и чести, по трусости, даже лености, и неспособности противостоять дурным побуждениям». Для них подходит не столько режим наказания, сколько воспитание, причем по возможности взаимное воспитание: одиночество ночью, совместная работа днем, разговоры допускаются, но только громко вслух, коллективное чтение, сопровождаемое вопросами друг к другу, за которые может даваться вознаграждение. Наконец, есть осужденные «бездарные и неспособные», чья «несовершенная организация делает их негодными к любому занятию, требующему обдуманного усилия и последовательной воли. Поэтому они не способны конкурировать с умелыми и опытными рабочими и, не обладая ни достаточной просвещенностью, чтобы знать свои общественные обязанности, ни достаточным умом, чтобы понять этот факт и бороться с собственными инстинктами, втягиваются в злодеяния самой своей неспособностью. Одиночество лишь усилило бы инертность таких заключенных, а потому они должны жить сообща, но небольшими группами, постоянно стимулируемые коллективными занятиями и подвергаемые строгому надзору»[476]. Так постепенно формируется «положительное» знание делинквентов и их видов, весьма отличное от юридической классификации правонарушений и сопутствующих им обстоятельств, но также и от медицинского знания, которое позволяет говорить о безумии индивида и тем самым аннулирует преступный характер деяния. Феррюс формулирует этот принцип совершенно четко: «В целом преступники далеко не безумны; было бы несправедливостью по отношению к безумным путать их с людьми сознательно испорченными». Задача нового знания – «научно» квалифицировать деяние как преступление, а главного – индивида как делинквента. Становится возможна криминология.

Коррелятом уголовного правосудия вполне может быть правонарушитель, но коррелят тюремной машины – некто другой; это делинквент, биографическая единица, ядро «опасности», род аномалии. И хотя справедливо, что к заключению, т. е. к законосообразному лишению свободы, тюрьма сделала пенитенциарное «дополнение», это

последнее, в свою очередь, вывело на сцену еще одного персонажа, который вкрался между индивидом, осужденным по закону, и индивидом, исполняющим этот закон. В тот момент, когда исчезло клеймимое, расчленяемое, сжигаемое и уничтожаемое тело пытаемого преступника, появилось тело заключенного, дублируемое индивидуальностью «делинквента», душой преступника, которую сам аппарат наказания произвел как точку приложения власти наказывать и как объект того, что по сей день именуется пенитенциарной наукой. Говорят, что тюрьма производит делинквентов; действительно, тюрьма почти неизбежно возвращает на судебную скамью тех, кто на ней уже побывал. Но она производит их также в том смысле, что вводит в игру закона и правонарушения, судьи и правонарушителя, осужденного и палача нетелесную реальность делинквентности, которая связывает их вместе и в течение полутора столетий заманивает в одну и ту же ловушку.

* * *

Пенитенциарная техника и делинквент – в некотором роде братья-близнецы. Неверно, что именно открытие делинквента средствами научной рациональности привнесло в наши старые тюрьмы утонченность пенитенциарных методов. Неверно также, что внутренняя разработка пенитенциарных методов в конце концов высветила «объективное» существование делинквентности, которую не могли уловить суды по причине абстрактности и негибкости права. Они возникли одновременно, продолжая друг друга, как технологический ансамбль, формирующий и расчленяющий объект, к которому применяются его инструменты. И именно эта делинквентность, образовавшаяся в недрах судебной машины, на уровне «низких дел», карательных задач, от которых отводит свой взгляд правосудие, стыдясь наказывать тех, кого оно осуждает, – именно она становится теперь кошмаром для безмятежных судов и величия законов; именно ее необходимо познавать, оценивать, измерять, диагностировать и изучать, когда выносятся приговоры. Именно ее, делинквентность, эту аномалию, отклонение, скрытую опасность, болезнь, форму существования, – надо теперь принимать в расчет при изменении кодексов. Делинквентность – месть тюрьмы правосудию. Реванш настолько страшный, что лишает судью дара речи. В этот момент возвышают свой голос криминологи.

Но не надо забывать, что тюрьма, этот сжатый и суровый образ всех дисциплин, не была рождена самой уголовно-правовой системой, сложившейся на рубеже XVIII–XIX веков. Тема наказывающего общества и общей семиотической техники наказания, скреплявшая «идеологические» – беккариевские или бентамовские – кодексы, как таковая не приводила к универсальному применению тюрьмы. Тюрьма произошла из другого – из механизмов, присущих дисциплинарной власти. Однако, несмотря на эту гетерогенность, механизмы и следствия тюрьмы распространились буквально по всему современному уголовному правосудию; делинквенты и делинквентность стали паразитировать на нем повсеместно. Необходимо доискаться причины этой опасной «эффективности» тюрьмы. Но одно можно отметить сразу: уголовное правосудие, сформированное реформаторами в XVIII веке, наметило две возможные, но расходящиеся линии объективации преступника: либо как «чудовища», морального или политического, выпавшего из общественного договора, либо как юридического субъекта, реабилитированного посредством наказания. И вот, «делинквент» позволяет соединить две эти линии и создать – опираясь на авторитет

медицины, психологии или криминологии – индивида, в котором накладываются (или почти накладываются) друг на друга нарушитель закона и объект научного метода. То, что прививка тюрьмы уголовно-правовой системе не вызвала бурной реакции отторжения, объясняется, несомненно, многими причинами. Одна из них состоит в том, что, производя делинквентность, тюрьма дала уголовному правосудию единое поле объектов, удостоверенное «науками», и тем самым позволила ему функционировать в общем горизонте «истины».

Тюрьма, эта самая темная область машины правосудия, есть место, где власть наказывать, более не рискующая проявляться открыто, молчаливо создает поле объективности, где наказание может открыто функционировать как терапия, а приговор вписывается в дискурсы знания. Понятно, почему правосудие с такой готовностью признало тюрьму, которая не была плодом его собственных мыслей. Правосудие просто вернуло тюрьме долг.

Глава 2.

Противозаконности и делинкветность

С точки зрения закона заключение вполне может быть только лишением свободы. Но исполняющее эту функцию содержание в тюрьме всегда предполагало некий технический проект. Переход от публичной казни с ее впечатляющими ритуалами, с ее искусством, неотрывным от церемонии причинения боли, к тюремному наказанию, сокрытому за мощными стенами архитектурных сооружений и охраняемому административной тайной, не является переходом к недифференцированному, абстрактному и неясному наказанию; это переход от одного искусства наказывать к другому, не менее тонкому. Техническая мутация. Некий симптом и символ его – замена в 1837 г. цепочки каторжников тюремным фургоном.

Караваны скованных общей цепью каторжников – традиция, восходящая к эпохе галерных рабов, – сохранялись еще при Июльской монархии. Значительность цепи каторжников как зрелища, восходящая к началу XIX века, связана, возможно, с тем обстоятельством, что здесь в одном проявлении объединялись два вида наказания: сам путь к месту заключения разворачивался как церемониал пытки[477]. Рассказы о «последних цепях» – тех, что бороздили Францию летом 1836 г., – и связанных с ними скандальных происшествий позволяют нам воссоздать сие действо, столь чуждое правилам «пенитенциарной науки». Оно начиналось с ритуала, исполняемого на эшафоте: с заковывания в железные ошейники и цепи во дворе тюрьмы Бисетр. Каторжника укладывали затылком на наковальню, словно на плаху; но на этот раз мастерство палача заключалось в том, чтобы нанести удар, не разможив голову, – мастерство, противоположное обычному: умение ударить, не убив. «В большом дворе тюрьмы Бисетр выставлены орудия пытки: несколько рядов цепей с ошейниками. Artourens (начальники стражи), ставшие на время кузнецами, приготавливают наковальню и молот. К решетке стены вокруг прогулочного двора прижались угрюмые или дерзкие лица тех, кого сейчас будут заковывать. Выше, на всех этажах тюрьмы, виднеются ноги и руки, которые свешиваются сквозь решетки камер, словно на базаре, где торгуют человеческой плотью: это заключенные, которые хотят присутствовать при “одевании” вчерашних сокамерников... Вот и последние, само воплощение жертвенности. Они сидят на земле парами, подобранными случайно, по росту. Цепи, которые им предстоит нести, весом 8 фунтов каждая, тяжелым грузом лежат у них на коленях. Палач производит смотр, обмеривает головы и надевает на них массивные ошейники толщиной в дюйм. В заклепке участвуют три палача: один держит наковальню, другой соединяет две части железного ошейника и, вытянув руки, оберегает голову жертвы, а третий в несколько ударов молота

расплющивает болт. При каждом ударе голова и тело вздрагивают... Правда, никто не думает об опасности, грозящей жертве, если молот скользнет в сторону. Мысль об этом сводится на нет или, скорее, заслоняется глубоким ужасом, внушаемым созерцанием твари Божьей в столь униженном состоянии»[478]. Это действие имеет также смысл публичного зрелища. Согласно «Gazette des tribunaux», свыше 100 000 человек наблюдали 19 июля уход цепи из Парижа. Порядок и богатство пришли поглазеть на проходящее вдалеке огромное племя кочевников, закованное в цепи, на другой род, на «чуждую расу, привилегированное население каторг и тюрем»[479]. Зеваки-простолюдины, словно во времена публичных казней, предаются двусмысленному общению с осужденными, обмениваясь с ними оскорблениями, угрозами, словами одобрения, пинками, знаками ненависти или солидарности. Возникающее неистовство сопровождает процессию на всем ее прохождении: гнев против слишком строгого или слишком снисходительного правосудия, возгласы против ненавистных преступников, жесты сочувствия узникам, которых узнают и приветствуют, столкновения с полицией: «На всем пути от заставы Фонтенбло группы одержимых выпускали негодующие вопли против Делаколлонжа: “Долой аббата, – возглашали они, – долой мерзавца! Пусть получит по заслугам”. Если бы не энергия и твердость городской гвардии, быть бы серьезным беспорядкам. На Вожираре больше всего бушевали женщины. Они кричали: “Долой дурного священника! Долой монстра Делаколлонжа!” Комиссары полиции Монружа и Вожирара и несколько мэров с помощниками в развевающихся шарфах примчались, чтобы обеспечить выполнение приговора. На подходах к Исси Франсуа, завидев господина Алара и его полицейских, швырнул в них деревянную миску. Тут вспомнили, что семьи некоторых прежних товарищей этого осужденного живут в Иври. Тогда полицейские инспектора рассредоточились вдоль всей цепи и плотно обступили телегу каторжников. Заключение из Парижа стали бросать миски в головы полицейским, и кое-кто попал в цель. В этот момент по толпе пробежало сильное волнение. Началась драка»[480]. По пути цепи от Бисетра до Севра многие дома были разграблены[481].

В этом празднестве отбывающих заключенных есть отзвук обрядов, связанных с «козлом отпущения», которого прогоняют и колотят, есть нечто от праздника дураков, где все меняются ролями, нечто от старых эшафотных церемоний, где истина должна воссиять при ярком свете дня, и нечто от тех народных зрелищ, в которых фигурируют знаменитые персонажи и традиционные типы: игра истины и бесчестья, парад славы и унижения, брань в адрес разоблаченных преступников, а с другой стороны – радостное признание в преступлениях. Стараются узнать лица преступников, снискавших славу. Раздают листки с описанием преступлений, совершенных проходящими каторжниками. Газеты заранее сообщают их имена и подробно повествуют об их жизни, иногда указывают приметы преступников и описывают их платье, чтобы они не остались неузнанными: это своего рода театральные программки[482]. Бывает, люди приходят для того, чтобы изучить различные типы преступников, пытаются определить по одежде или лицу «специальность» осужденного, узнать, убийца он или вор: идет игра в маскарад и куклы, которая является также, для более образованного взгляда, своего рода эмпирической этнографией преступления. От зрелищ на подмостках до френологии Галля: люди, принадлежащие к разным слоям общества, практически осваивают семиотику преступления: «Физиономии столь же разнообразны, сколь и одежда: тут величественный лик, тип Мурильо[483], там – порочное лицо, окаймленное густыми бровями, которые передают всю энергию

законченного злодея... Вот голова араба выдается на мальчишеском теле. Вот мягкие, женственные черты – это сообщники. Вот лоснящиеся и развратные лица – это учителя»[484]. На игру откликаются сами осужденные, выставляя напоказ свои преступления и злодеяния. Такова одна из функций татуировки, повествующей об их делах или судьбе: «Они сообщают нечто посредством знаков на теле: это либо изображение гильотины на левой руке, либо татуированный на груди кинжал, пронзивший окровавленное сердце». Проходя, они жестами изображают совершенные ими преступления, насмеваются над судьями и полицией, хвастаются нераскрытыми злодеяниями. Франсуа (бывший сообщник Лансенера) рассказывает, что придумал способ убить человека без малейшего вскрика и капли крови. У грандиозной бродячей ярмарки преступлений есть свои фигляры и маски: комическое утверждение истины является ответом на любопытство и брань. Тем летом 1836 г. разыгрывались сцены, связанные с Делаколонжем: он разрезал на куски беременную любовницу, и его преступление произвело огромное впечатление, поскольку он был священником. Тот же сан спас его от эшафота. Кажется, он возбудил сильную ненависть в народе. Еще раньше, в июне 1836 г., когда его везли в телеге в Париж, он подвергался оскорблениям и не мог сдержать слез. Однако он отказался от закрытого фургона, поскольку считал, что унижение – часть наказания. При выезде из Парижа «толпа зашла в добродетельном негодовании и моральном гневе, обнаружив всю свою неслыханную низость. Его закидали землей и грязью. Разъяренная публика осыпала его градом камней и ругательств... Это был взрыв небывалого бешенства. Особенно женщины, сущие фурии, выказывали неимоверную ненависть»[485]. Чтобы защититься от толпы, его переодели. Некоторые зрители ошибочно приняли за него Франсуа. Тот поддержал игру и вошел в роль. Он изображал не только преступление, коего не совершал, но и священника, коим никогда не был. К рассказу о «своем» преступлении он приплел молитвы и широким жестом благословлял глумящуюся толпу. В нескольких шагах от него настоящий Делаколонж, «казавшийся мучеником», переживал двойной позор. Он выслушивал оскорбления, бросаемые не ему, но адресуемые ему, и насмешки, которые в лице другого преступника воскрешали священника, коим он был, но хотел бы это скрыть. Страсть его разыгрывалась перед ним фигляром-убийцей, с которым он был связан одной цепью.

Цепь приносила праздник во все города, где она проходила. Это была вакханалия наказания, наказание, превращенное в привилегию. И в согласии с весьма любопытной традицией, которая, кажется, не была нарушена обычными ритуалами публичной казни, наказание вызывало у осужденных не столько обязательные признаки раскаяния, сколько взрыв безумной радости, отрицавшей наказание. К украшению из ошейника и цепи каторжники сами добавляли ленты, плетеную солому, цветы или дорогое белье. Караван каторжников – хоровод и пляска; но также совокупление, вынужденный брак, когда любовь запрещена. Свадьба, праздник и ритуал в цепях. «Волоча за собой цепи, они бегут с букетами в руках, с лентами и соломенными кисточками на колпаках, самые искусные – в шлемах с гребнем... Другие надели сабо и ажурные чулки или модные жилеты под рабочую блузу»[486]. Вечер напролет после заковывания в кандалы «цепь» безостановочно кружилась во дворе тюрьмы Бисетр в огромном хороводе: «Плохо приходилось охранникам, если каторжники их узнавали: их окружали и втягивали в кольца. Заключение оставались хозяевами поля битвы до наступления темноты»[487]. Своими пышными празднествами шабаш осужденных вторил церемониалу правосудия. Он был противоположен великолепию, порядку власти и ее признакам, формам наслаждения. Но в нем слышался отзвук

политического шабаша. Только глухой не различил бы этих новых интонаций. Каторжники распевали походные песни, быстро становившиеся знаменитыми и повторявшиеся повсюду еще долгое время спустя. В них явственно звучало эхо жалобных причитаний, которые в листках приписывались преступникам, – подтверждение преступления, зловещее превращение преступников в героев, напоминание об ужасных наказаниях и окружающей преступников всеобщей ненависти: «Пусть славу нашу возглашают трубы... Мужайтесь, ребята, бесстрашно подчинимся нависшей над ними ужасной судьбе... Кандалы тяжелы, но мы выдержим. Ни один голос не поднимется в защиту осужденных и не скажет: избавим их от страданий». И все же в этих коллективных песнях была совершенно новая тональность. Моральный кодекс, выражаемый в большинстве старинных жалобных песен, был совсем иной. Теперь пытка обостряет гордость, вместо того чтобы вызывать раскаяние. Вынесенное приговор правосудие отвергается. Толпа, пришедшая увидеть ожидаемое ею раскаяние или позор, подвергается хуле: «Вдали от семейного очага мы порой стонем. Но нет страха на челе. Наши хмурые лица да заставят побледнеть судей... Жадные до несчастья, ваши взгляды ищут среди нас клеймённых, плачущих и униженных. Но наши глаза сияют гордостью». В этих песнях можно найти и утверждение, что в каторжной жизни с ее товариществом и дружбой есть радости, неведомые на свободе. «Со временем придут радости. За засовами настанут дни веселья... Радости – перебежчицы: они сбегут от палачей и последуют туда, куда манят песни». А главное, нынешний порядок не вечен. Осужденные освободятся и обретут свои права, больше того: обвинители займут их место. Близок судный день, когда преступники станут судить своих судей. «Презрение людей обращено на нас, осужденных. Золото, которому они поклоняются, тоже наше. Однажды оно перейдет в наши руки. Мы купим его ценой жизни. Другие наденут цепи, которые вы заставляете нас влачить; они станут рабами. Мы разорвем путы, и воссияет звезда свободы. Прощайте, нам не страшны ни ваши цепи, ни ваши законы»[488]. Изображаемый газетенками благочестивый театр, где осужденный заклинал толпу никогда не следовать его примеру, становится угрожающей сценой, где толпу призывают сделать выбор между жестокостью палачей, несправедливостью судей и несчастьем осужденных, которые сегодня повержены, но однажды восторжествуют.

Грандиозное зрелище кандалной цепи было связано с древней традицией публичных казней, а также с многочисленными представлениями преступления, устраиваемыми газетами и газетенками, ярмарочными зазывалами и бульварными театрами[489]. Но оно было связано и с борьбой и сражениями, первый гул которых оно доносило. Оно давало своего рода символическую развязку: побежденная законом, армия беспорядка обещает вернуться. То, что было выдворено грубой силой порядка, опрокинет порядок и принесет свободу. «Я ужаснулся, увидев, сколько искр сверкает в этих углях»[490]. Ажиотаж, всегда сопровождавший публичные казни, теперь повторяется в «адресных» угрозах. Понятно, что Июльская монархия решила отменить кандалные шествия по тем же – но еще более веским – причинам, что вызвали в XVIII веке отмену публичных казней: «Наша мораль не допускает такого обращения с людьми. Не следует давать в городах, где проходит колонна каторжников, столь отвратительное представление, которое, во всяком случае, ничему не учит население»[491]. Итак, необходимо порвать с публичными ритуалами, подвергнуть передвижения осужденных тому же изменению, что претерпели и сами наказания, скрыть и их под покровом административной стыдливости.

Однако в июне 1837 г. караван каторжников заменили не простой крытой повозкой, о которой одно время подумывали, а детально разработанной машиной. Фургоном, представляющим собой тюрьму на колесах. Передвижным эквивалентом паноптикона. Центральный коридор разделяет фургон по всей длине. С каждой стороны коридора имеется шесть камер, где заключенные сидят лицом к коридору. Их ступни помещаются в кольца с шерстяной подкладкой, соединенные между собой цепями толщиной 18 дюймов. Ноги зажаты в металлические наколенники. Осужденный сидит на «своего рода трубе из цинка и дубового дерева, которая опорожняется прямо на дорогу». В камере нет ни одного окна наружу, вся она обшита листовым железом. Только форточка, представляющая собой просверленную в железе дыру, пропускает «достаточное количество воздуха». В выходящей в коридор двери каждой камеры проделано окошечко из двух половинок: одна служит для передачи пищи, а другая – зарешеченная – для надзора. «Окошечки открываются и расположены под наклоном, что позволяет надзирателям непрестанно видеть заключенных и слышать малейшее их слово, тогда как сами заключенные не могут ни видеть, ни слышать друг друга». Таким образом, «в одном и том же фургоне можно без всякого неудобства везти каторжника и простого подследственного, мужчин и женщин, детей и взрослых. Сколько бы ни длился путь, все будут доставлены к месту назначения, не увидев друг друга и не обменявшись ни словом». Наконец, постоянный надзор, осуществляемый двумя охранниками, которые вооружены дубинками «с толстыми притупленными гвоздями», позволяет применять систему наказаний в соответствии с внутренним распорядком фургона: один хлеб и вода, наручники, отсутствие подушки для сна, цепи на обеих руках. «Любое чтение, кроме нравоучительных книг, запрещено».

Уже одной своей мягкостью и быстротой эта машина «сделала бы честь доброте своего изобретателя». Но ее достоинство состоит в том, что она – настоящий тюремный фургон. В ее внешнем воздействии – поистине бентамовское совершенство: «В быстрой езде этой тюрьмы на колесах – на глухих и темных боках коей различима только одна надпись: “Перевозка каторжников”, – есть нечто загадочное и мрачное (чего и требовал Бентам от исполнения уголовных приговоров), оставляющее в сознании зрителей более благотворное и длительное впечатление, чем вид этих циничных и веселых пассажиров»[492]. Но производится и внутреннее воздействие: даже если путешествие продолжается всего несколько дней (и узников ни на миг не отвязывают), фургон действует как исправительная машина. Заключенный выходит из него удивительно послушным: «В моральном отношении эта перевозка, занимающая не более трех суток, – ужасная пытка, и ее воздействие на заключенного, видимо, сохраняется еще долго». Так считают и сами заключенные: «В тюремном фургоне, если не спишь, остается только думать. Думая, я начинаю сожалеть о содеянном. Понимаете, в конце концов я начинаю бояться, что исправлюсь»[493].

Скудна история тюремного фургона. Но то, каким образом он заменил цепь каторжников, и причины этой замены резюмируют процесс, в ходе которого в течение восьмидесяти лет тюремное заключение – как продуманный метод изменения индивидов – сменило публичные казни. Тюремный фургон есть машина реформы. Публичную казнь заменили не массивные стены, а тщательно координированный дисциплинарный механизм, по крайней мере в принципе.



Ведь тюрьму в ее реальности и очевидных следствиях сразу объявили великой неудачей уголовного правосудия. Весьма странным образом история заключения не позволяет говорить о хронологии, в которой чинно следовали бы друг за другом введение тюремного заключения, затем признание провала этой формы наказания; далее медленное развитие проектов реформы, которые должны были бы привести к более или менее связному определению пенитенциарной техники; затем практическая реализация этого проекта; наконец, констатация его успеха или неудачи. На самом деле имело место столкновение или, по крайней мере иное распределение этих элементов. И точно так же как проект исправительной техники следовал за принципом карательного заключения, критика тюрьмы и ее методов началась очень рано, в те же 1820–1845 гг.; да и выражалась она в ряде формулировок, которые – если не считать цифр – почти без изменений повторяются по сей день.

– Тюрьмы не снижают уровень преступности. Тюрьмы можно расширить, преобразовать, увеличить их количество, но число преступлений и преступников остается стабильным или, хуже того, возрастает: «Во Франции насчитывается примерно 108 000 индивидов, находящихся в состоянии чудовищной враждебности к обществу. Имеются следующие меры их подавления: эшафот, ошейник, 3 каторги, 19 центральных тюрем, 86 домов правосудия[494], 362 арестантских дома, 2800 кантональных тюрем, 2238 камер предварительного заключения в жандармских участках. Несмотря на все это, порок не знает удержу. Число преступлений не снижается... а число рецидивистов скорее возрастает, чем сокращается»[495].

– Тюремное заключение порождает рецидивизм. У освободившихся из тюрьмы гораздо больше шансов туда вернуться, чем у тех, кто не сидел. Подавляющее большинство осужденных – бывшие заключенные. 38 % освободившихся из центральных тюрем были осуждены вновь, а 33 % из них отправлены на каторгу[496]. В 1828–1834 гг. из почти 35 000 осужденных за преступления около 7400 были рецидивистами (т. е. один рецидивист на 4,7 осужденных), более чем из 200 000 мелких преступников свыше 35 000 тоже были рецидивистами (один из 6), итого в среднем – один рецидивист на 5,8 осужденных[497].

В 1831 г. из 2174 осужденных за повторные преступления 350 побывали на каторге, 1682 – в центральных тюрьмах, а 142 – в исправительных домах с тем же режимом, что и в центральных тюрьмах[498]. И диагноз стал еще более неблагоприятным во время Июльской монархии: в 1835 г. насчитывается 1486 рецидивистов из 7223 осужденных по уголовным делам. В 1839 г. – 1749 из 7858, в 1844 г. – 1821 из 7195. Из 980 заключенных в Лоосе[499] 570 были рецидивистами, а в Мелене – 745 из 1088[500]. Значит, вместо того чтобы выпускать на свободу исправленных индивидов, тюрьма распространяет в населении опасных делинквентов: «7000 человек возвращаются ежегодно в общество... Это 7000 первопричин преступлений и разложения, распространяемых по всему общественному телу. А как подумаешь, что все это население постоянно возрастает, что оно живет и бурлит вокруг нас, готово ухватиться за любой повод к беспорядку и воспользоваться малейшим кризисом в обществе, чтобы испытать свои силы, – можно ли оставаться безучастным к

такому зрелищу?»[501]

– Тюрьма не может не производить делинквентов. Она делает это посредством самого образа жизни, который навязывает заключенным: сидят ли они в одиночных камерах или выполняют бесполезную работу (требующую навыков, которым впоследствии не найдется применения), – в любом случае здесь не «думают о человеке в обществе, создают противоестественную, бесполезную и опасную жизнь». Тюрьма должна воспитывать заключенных, но разумно ли, чтобы система воспитания, обращенная к человеку, действовала против намерений природы?[502] Тюрьма производит делинквентов также потому, что грубо принуждает узников. Предполагается, что тюрьма исполняет законы и учит уважать их, но вся ее деятельность протекает в форме злоупотребления властью. Произвол администрации: «Чувство несправедливости, переживаемое заключенным, – одна из причин, способных сделать его характер неукротимым. Поняв, что испытывает страдания, не предписанные и даже не предусмотренные законом, он безнадежно озлобляется против всего окружающего. В любом представителе власти он видит лишь палача. Он уже не думает, что виновен: он обвиняет правосудие»[503]. Разложение, страх и некомпетентность охранников: «От 1000 до 1500 заключенных живут под надзором 30—40 надзирателей, которые могут сохранить какую-то безопасность, лишь опираясь на доносчиков, т. е. на испорченность, которую они сами же заботливо сеют. Кто они, эти охранники? Отставные солдаты, люди, которым не объяснили, как надлежит исполнять порученную им задачу, которые считают охрану злодеев своим ремеслом»[504]. Эксплуатация посредством принудительного труда, который в этих условиях не может носить воспитательного характера: «Выступают против работорговли. А разве наши заключенные не продаются предпринимателями, словно негры, и не покупаются производителями... Так-то мы преподаем заключенным уроки порядочности? Не развращают ли их еще больше эти примеры отвратительной эксплуатации?»[505]

– Тюрьма делает возможной и даже поощряет организацию среды делинквентов, солидарных друг с другом, признающих определенную иерархию и готовых к сообщничеству в любом будущем преступлении: «Общество запрещает объединения, насчитывающие свыше 20 человек... а само образует союзы из 200, 500, 1200 заключенных в центральных тюрьмах, которые оно возводит ad hoc[506] и для пущего удобства подразделяет на мастерские, внутренние дворы, спальни, общие столовые... Общество умножает число тюрем по всей Франции, и таким образом, где есть тюрьма, там есть объединение заключенных... а значит, антиобщественный клуб»[507]. И в этих «клубах» получает воспитание впервые осужденный молодой правонарушитель: «Первое желание, которое у него возникнет, – научиться у ловких старших умению ускользать от строгости закона. Первый урок он извлечет из жестокой логики воров, считающих общество врагом. Его моралью станут наущничество и шпионаж, столь почитаемые в наших тюрьмах. Его первой страстью будет напугать юную натуру мерзостями, которые рождаются в темнице и не поддаются описанию... Отныне он порывает со всем, что связывало его с обществом»[508]. Фоше говорил о «казармах преступления».

– Условия, в которых оказываются освободившиеся узники, обрекают их на повторение преступления: они находятся под надзором полиции, им предписывают место жительства и запрещают проживание в определенных местах, они «выходят из тюрьмы с паспортом,

который должны предъявлять повсюду и где фиксируется вынесенный им приговор»[509]. Неприкаянность, невозможность найти работу и бродяжничество – наиболее частые факторы, приводящие к рецидиву. «Gazette des tribunaux», как и рабочие газеты, регулярно сообщает о случаях повторных преступлений. Так, одного рабочего, осужденного за воровство и находящегося под надзором в Руане, снова поймали на краже, причем адвокаты отказались его защищать. Поэтому он решил выступить в суде сам, рассказал историю своей жизни, объяснил, что, выйдя из тюрьмы и будучи вынужден жить в строго определенном месте, он не смог вернуться к ремеслу золотильщика, поскольку его гнали отовсюду как бывшего заключенного. Полиция отказала ему в праве искать работу в других местностях. Он оказался прикованным к Руану и умирал от голода и нищеты из-за этого ужасного надзора. Тогда он пришел в мэрию и попросил, чтобы ему нашли работу. Восемь дней он работал на кладбищах за 14 су в день. «Но, – сказал он, – я молод, у меня хороший аппетит, я съедаю больше двух фунтов хлеба в день, а один фунт стоит 5 су. Достаточно ли 14 су, чтобы питаться, стирать одежду и платить за жилье? Я впал в отчаянье. Я хотел снова стать честным человеком, но надзор сделал меня несчастным. Я почувствовал отвращение ко всему. Тут я познакомился с Лемэтром, который тоже нищенствовал. Надо было жить, и к нам вернулись дурные мысли о воровстве»[510].

– Наконец, тюрьма косвенно производит делинквентов, ввергая в нищету семью заключенного: «Тот самый приговор, что отправил главу семейства в тюрьму ежедневно обрекает мать на лишения, детей – на заброшенность, всю семью – на бродяжничество и попрошайничество. Именно поэтому преступление может иметь продолжение»[511].

Надо заметить, что эта монотонная критика тюрьмы всегда принимала одно из двух направлений: говорили, что тюрьма недостаточно исправляет или что пенитенциарная техника пока пребывает в зачаточном состоянии. И еще: что, стремясь быть исправительной, тюрьма утрачивает свою силу как наказание[512], что истинная пенитенциарная техника – строгость[513], что тюрьма есть двойная экономическая ошибка: непосредственная – по причине собственной внутренней стоимости и косвенная – по причине стоимости делинквентности, которую она не пресекает[514]. Ответ на эти критические замечания был всегда одинаков: повторение неизменных принципов пенитенциарной техники. В течение полутора веков тюрьме всегда предлагали в качестве лекарства саму же тюрьму: возобновление пенитенциарных техник как единственное средство преодоления их вечной неудачи; осуществление исправительного проекта как единственный способ преодоления невозможности его осуществления.

В этом убеждает следующий факт: бунты заключенных, произошедшие в последние недели, объяснили тем, что реформы, предложенные в 1945 г., так и не дали реальных результатов. Поэтому мы должны вернуться к фундаментальным принципам тюрьмы. Но эти принципы, от которых сегодня все еще ожидают чудесных результатов, прекрасно известны: в течение последних 150 лет они составляют семь универсальных максим хорошего «пенитенциарного состояния».

Существенно важной функцией тюремного заключения является преобразование, поведения индивида: «Исправление осужденного как главная цель наказания – священный принцип, формальное введение которого в область науки и прежде всего в область законодательства происходит в последнее время» (Congrès pénitentiaire de Bruxelles, 1847). В мае 1945 г. тот же тезис точно повторяет комиссия Амора: «Наказание путем лишения свободы имеет своей главной целью изменение и социальную реабилитацию индивида». Принцип исправления.

2

Заклученные должны быть изолированы или по крайней мере распределены с учетом правовой тяжести деяния, но главное – возраста, наклонностей, применяемых методов исправления и стадий перевоспитания. «При использовании средств изменения индивидов должны учитываться серьезные физические и моральные различия между осужденными, степень их испорченности, неравные шансы на исправление» (февраль 1850 г.) И в 1945 г.: «Распределение в пенитенциарных учреждениях индивидов, приговоренных к небольшому сроку тюремного заключения (менее одного года), производится в соответствии с полом, личностью и степенью испорченности делинквента». Принцип классификации.

3

Должно быть возможным изменение наказания в зависимости от индивидуальности заключенных, достигнутых результатов, продвижения вперед или срывов. «Поскольку основная цель наказания – преобразование преступника, желательно, чтобы имела возможность освободить любого осужденного, чье моральное перерождение достаточно удостоверено» (Ch. Lucas, 1836 г.) И в 1945 г.: «Применяется прогрессивный режим... согласования обращения с заключенным с его установками и степенью исправления. Этот режим варьируется от одиночного заключения до полусвободы... Условное освобождение возможно при всех наказаниях, предусматривающих срок тюремного заключения». Принцип модуляции наказаний.

4

Работа должна быть одним из основных элементов преобразования и постепенной социализации заключенных. Тюремный труд «должен расцениваться не как дополнение или некое утяжеление наказания, но как смягчение, которого заключенный уже не может лишиться». Он должен обучиться ремеслу, чтобы обеспечить себе и своей семье источник дохода (Ducpétiaux, 1857). 1945 г.: «Любой осужденный по нормам общего права обязан работать... Ни один заключенный не должен оставаться незанятым». Принцип работы как обязанности и права.

5

Воспитание заключенного с точки зрения государственной власти есть необходимая предосторожность в интересах общества и обязанность по отношению к заключенному. «Только воспитание может служить пенитенциарным инструментом. Вопрос исправительного заключения есть вопрос воспитания» (Ch. Lucas, 1838). 1945 г.:

«Исправительные меры по отношению к заключенному, избегая развращающей беспорядочности... должны быть направлены главным образом на общее и профессиональное обучение индивида и на его улучшение». Принцип пенитенциарного воспитания.

6

Тюремный режим должен, по крайней мере частично, контролироваться и руководиться специальным персоналом, который обладает моральными качествами и техническими возможностями, обеспечивающими правильное формирование индивидов. В 1850 г. Феррюс заметил по поводу тюремной медицины: «Она есть полезное дополнение для любых форм заключения... никто не располагает более полным доверием заключенных, нежели врач, никто не знает их характер лучше врача, никто не воздействует на их мысли и чувства более эффективно. В то же время врач облегчает их физические недуги и при этом выговаривает или подбадривает, исходя из собственного разума». И в 1945 г.: «В любом пенитенциарном заведении обеспечивается социальное и медико-психологическое обслуживание». Принцип технического обеспечения заключения.

7

Заключение должно сопровождаться мерами контроля и содействия вплоть до полной реадaptации бывшего заключенного. Он должен не только находиться под надзором по освобождении из тюрьмы, но и «получать поддержку и помощь» (Буле и Бенко в Парижской палате депутатов). И в 1945 г.: «Содействие оказывается заключенным во время и после отбывания заключения с целью облегчения их социальной реабилитации». Принцип вспомогательных институтов.

Веками слово в слово повторяются одни и те же фундаментальные принципы. Всякий раз они выдают себя за наконец-то найденную, наконец-то признанную формулировку принципов реформы, которой прежде всегда недоставало. Те же самые (или почти те же самые) выражения можно почерпнуть из других «плодотворных» периодов реформы, таких, как конец XIX века, «движение за социальную защиту» или последние несколько лет, когда произошли бунты заключенных.

Итак, не следует понимать тюрьму, ее «провал» и более или менее успешную реформу как три последовательных этапа. Скорее, надо видеть в них синхронную систему, которая исторически накладывается на юридическое лишение свободы, систему, включающую в себя четыре элемента: дисциплинарное «дополнение» тюрьмы – элемент сверхвласти; производство некой объективности, техники, пенитенциарной «рациональности» – элемент вспомогательного знания; фактическое возобновление (если не усиление) преступности, которую тюрьма призвана уничтожать, – элемент обратной эффективности; наконец, повторение «реформы», которая, несмотря на ее «идеальность», изоморфна с дисциплинарным функционированием тюрьмы, – элемент утопического удвоения. Именно это сложное целое образует «систему карцера», отличающуюся от простого института тюрьмы с ее стенами, персоналом, правилами и насилием. Карцерная система соединяет в одном образе дискурсы и архитектуры, принудительные правила и научные предложения,

реальные социальные последствия и непобедимые утопии, программы исправления делинквентов и механизмы, укрепляющие делинквентность. Не является ли предполагаемый провал частью функционирования тюрьмы? Не следует ли включить его в число тех проявлений власти, которые дисциплина и дополняющая ее технология заключения ввели в аппарат правосудия и в общество в целом и которые можно объединить под названием «система карцера»? Если институт тюрьмы сохранялся столь долго и практически без изменений, если принцип уголовно-правового заключения никогда не вызывал серьезных вопросов, то это объясняется, несомненно, тем, что карцерная система пустила глубокие корни и выполняла четко определенные функции. Свидетельством его прочности является один недавний факт: образцовая тюрьма, открывшаяся в городке Флери-Мерожис в 1969 г., просто повторила в своем общем плане паноптическую звезду, привлечшую огромное внимание к тюрьме Петит-Рокет[515] в 1836 г. Все тот же старый механизм власти получил здесь реальное тело и символическую форму. Но какая роль ему отводилась?

* * *

Если считать, что назначение закона – классификация правонарушений, что функция карательной машины – их сокращение и что тюрьма есть инструмент подавления правонарушений, то приходится констатировать их поражение. Или, скорее: поскольку для того, чтобы установить факт поражения в исторических терминах, потребовалось бы измерить воздействие наказания в форме заключения на общий уровень преступности, вызывает удивление, что в течение последних 150 лет провозглашение провала тюрьмы неизменно сопровождалось ее сохранением. Единственной реальной альтернативой была депортация. Великобритания отказалась от нее в начале XIX века, а Франция возобновила эту практику во время Второй Империи, но ее рассматривали скорее как суровую форму заключения вдали от родины.

Но, может быть, следует взглянуть на проблему иначе и спросить себя, чему служит провал тюрьмы; почему полезны различные явления, которые постоянно критикуют, такие, как поддержание делинквентности, поощрение рецидивизма, преобразование случайного правонарушителя в устойчивого делинквента, формирование замкнутой среды делинквентности. Пожалуй, надо выяснить, что таится за явным цинизмом карательного института, который после «очищения» заключенных посредством наказания продолжает следовать за ними шлейфом «клеймений» (надзор, некогда существовавший юридически, а ныне – фактически; полицейское досье, сменившее прежние паспорта каторжников) и преследует как «делинквента» того, кто уже оправдал себя, отбыв наказание как правонарушитель. Не следует ли видеть в этом скорее последовательность, чем противоречие? В таком случае приходится предположить, что тюрьма (и наказание вообще) имеет целью не устранение правонарушений, а скорее различение их, распределение и использование; что тюрьма и наказания не столько делают послушными тех, кто склонен нарушать закон, сколько стремятся вписать нарушение закона в общую тактику подчинения. Тогда уголовно-правовая система предстает как способ обращения с противозаконностями, установления пределов терпимости, открытия пути перед одними, оказания давления на других, исключения одной сферы, постановки на службу другой,

нейтрализации одних индивидов и извлечения пользы из других. Короче говоря, система наказания не просто «подавляет» противозаконности, она «дифференцирует» их, она обеспечивает их общую «экономия». И если можно говорить о классовом правосудии, то не только потому, что сам закон и способ его применения служат интересам определенного класса, но и потому, что дифференцированное управление противозаконностями посредством системы наказания составляет часть механизмов господства. Наказания в соответствии с законом надо рассматривать в контексте глобальной стратегии противозаконностей. Это позволит понять «провал» тюрьмы.

Общая схема уголовно-правовой реформы обрела четкие очертания в конце XVIII века в борьбе с противозаконностями: все равновесие терпимости, взаимной поддержки и интересов, которое при старом режиме обеспечивало сосуществование противозаконностей различных социальных слоев, было нарушено. Сформировалась утопия универсально и публично карательного общества, в котором непрерывно действующие механизмы наказания работали бы без промедления, посредничества или колебания, а один вдвойне идеальный закон – совершенный в своих расчетах и запечатленный в сознании каждого гражданина – в корне пресекал бы все противозаконные практики. И вот, на рубеже XVIII–XIX веков и наперекор новым кодексам появляется опасность новой народной противозаконности. Или, точнее, народные противозаконности начинают развиваться в соответствии с новыми измерениями, теми, что были введены движениями, которые с 1780-х годов до революций 1848 г. соединяли в себе социальные конфликты, борьбу против политических режимов, сопротивление наступлению индустриализации, последствия экономических кризисов. Вообще говоря, имели место три характерных процесса. Прежде всего, развитие политического измерения народных противозаконностей. Оно происходит двумя путями. Практики, ранее локализованные и в некотором смысле ограниченные собственными рамками (такие, как отказ платить налоги, ренту или нести воинскую повинность; насильственная конфискация припрятанного продовольствия; разграбление магазинов и принудительная продажа продуктов по «справедливой цене»; столкновения с представителями власти), во время Революции привели непосредственно к политической борьбе, цель которой – не просто заставить власть пойти на уступки, объявить недействительной какую-либо недопустимую меру, но смена правительства и самой структуры власти. Вместе с тем некоторые политические движения открыто опирались на существующие формы противозаконности (например, роялистские волнения на западе и юге Франции воспользовались неприятием крестьянами новых законов о собственности, религии и воинской повинности); политическое измерение противозаконности становилось все более сложным и заметным в отношениях между рабочим движением и республиканскими партиями в XIX веке, на этапе перехода от рабочей борьбы (забастовок, запрещенных коалиций, незаконных объединений) к политической революции. Во всяком случае, на горизонте этих противозаконных практик (а их становилось все больше по мере нарастания ограничительного характера законодательства) вырисовывалась борьба чисто политического характера; возможное ниспровержение власти фигурировало далеко не во всех этих движениях; но многие из них могли изменить направление и влиться в общую политическую борьбу, а порой даже прямо привести к ней.

С другой стороны, в отвержении закона или других правил нетрудно распознать борьбу против тех, кто устанавливает их в собственных интересах: люди борются теперь не против

откупщиков, финансистов, королевских наместников, недобросовестных чиновников или плохих министров – все они воплощают несправедливость, – а против самого закона и обеспечивающего его выполнение правосудия; против местных землевладельцев, вводящих новые права; против работодателей, действующих сообща, но запрещающих объединения рабочих; против предпринимателей, которые приобретают новые машины, снижают зарплату, увеличивают продолжительность рабочего дня и делают заводские распоряжки все более строгими. Именно против нового режима земельной собственности – установленного буржуазией, которая нажилась на Революции, – и была направлена вся крестьянская противозаконность. Несомненно, наиболее насильственные формы она принимала в период от Термидора до Консулата, но не исчезла и впоследствии. Именно против нового режима законной эксплуатации труда были направлены рабочие противозаконности в начале XIX века: от самых буйных (уничтожение машин) и продолжительных (создание объединений) до самых повседневных, таких, как невыходы на работу, самовольное прекращение работы, бродяжничество, кража сырья, обман, связанный с количеством и качеством готовых продуктов. Целый ряд противозаконностей вписывается в борьбу, участники которой понимают, что они противостоят как закону, так и навязывающему его классу.

Наконец, если на протяжении XVIII века[516] преступность имеет тенденцию к более специализированным формам, все больше и больше отождествляясь с «профессиональной» кражей и становясь до некоторой степени делом людей, находящихся на «краях» общества, стоящих особняком от враждебного к ним населения, – то в последние годы того же столетия наблюдается восстановление старых связей или установление новых отношений. И не потому, что (как говорили современники) вожди народных восстаний были преступниками, а потому, что новые формы права, строгие правила, требования государства, землевладельцев и работодателей и чрезвычайно детализированные методы надзора увеличивали количество правонарушений и отбрасывали за пределы закона многих людей, которые в других обстоятельствах не обратились бы к специализированной преступности; именно на фоне новых законов о собственности, а также отказа нести тяжкую воинскую повинность в последние годы Революции развилась крестьянская противозаконность с последующим нарастанием насилия, актов агрессии, краж, грабежей и даже более крупных форм «политического разбоя». И именно на фоне законодательства или слишком строгих правил (связанных с расчетными книжками, платой за жилье, рабочим графиком и прогулами) развилось бродяжничество рабочих, очень часто выливавшееся в настоящую делинквентность. Целый ряд противозаконных практик, которые в предыдущем столетии существовали обособленно друг от друга, теперь, видимо, сходятся вместе и образуют новую угрозу.

На рубеже веков происходит тройное распространение народных противозаконностей (если оставить в стороне их количественный рост, который не очевиден и пока не подсчитан): внедрение их в общий политический горизонт; их явная связь с социальной борьбой; установление сообщения между различными формами и уровнями правонарушений. Эти процессы, пожалуй, не достигли полного развития; конечно, в начале XIX века еще не сформировалась массовая противозаконность, одновременно политическая и социальная. Но, несмотря на их зачаточную форму и рассредоточенность, эти процессы были достаточно заметны и послужили причиной великого страха перед плебсом (в целом считавшимся

преступным и мятежным), причиной мифа о варварском, аморальном и незаконном классе, мифа, который от Империи до Июльской монархии преследовал дискурс законодателей, филантропов и исследователей жизни рабочего класса. Именно эти процессы скрываются за целым рядом утверждений, совершенно чуждых уголовно-правовой теории XVIII века. О том, что преступление – не некая склонность, вписанная в сердце каждого человека и выражающаяся в стремлении к извлечению выгоды или в страстях, а почти исключительно удел определенного общественного класса. Что преступники, встречавшиеся некогда во всех общественных классах, теперь выходят «почти все из нижнего ряда общественного порядка»[517]. Что «девять десятых убийц, воров и негодяев происходят из так называемого социального дна»[518]. Что не преступление отчуждает человека от общества, но оно само вызывается тем обстоятельством, что человек в обществе как чужой, что он принадлежит к «выродившемуся племени», как говорил Тарже, к тому «испорченному нищетой классу, чьи пороки подобны непреодолимому препятствию перед благородными намерениями, стремящимися его сокрушить»[519]. Что раз так, то было бы лицемерно и наивно думать, будто закон установлен для всех и ради всех. Что разумнее было бы признать, что он создан для немногих и введен для того, чтобы нажимать на других. Что в принципе он обязателен для всех граждан, но распространяется главным образом на самые многочисленные и наименее образованные классы. Что, в отличие от политических или гражданских законов, уголовные законы не применяются ко всем равным образом[520]. Что в судах не общество в целом судит своего члена, а одна общественная категория, заинтересованная в порядке, судит другую, преданную беспорядку: «Посетите места, где судят, заточают, убивают... Поражает одно обстоятельство: везде вы увидите два совершенно различных класса людей, один из которых всегда восседает в креслах обвинителей и судей, а другой занимает скамью подсудимых». Это объясняется тем фактом, что последние, не имея достаточных средств и образования, не умеют «удержаться в рамках правовой честности»[521]. Так что даже язык закона, который считается универсальным, в этом отношении неадекватен. Для того чтобы быть эффективным, он должен быть обращением одного класса к другому, привыкшему к другим мыслям и даже словам: «Как нам, с нашим притворно добродетельным, пренебрежительным, отягощенным формальностями языком быть понятными для тех, кто слышал одно только грубое, бедное, неправильное, но живое, искреннее и сочное просторечье рынков, кабаков и ярмарок... Какой язык, какой метод надо применить при составлении законов, чтобы эффективно воздействовать на необразованный ум тех, кто чаще уступает соблазну преступления?»[522] Закон и правосудие не колеблясь провозглашают свою неизбежную классовую несимметричность.

Если так, то тюрьма, якобы «терпя поражение», на самом деле не бьет мимо цели. Напротив, она попадает в цель, поскольку вызывает к жизни одну особую форму противозаконности среди прочих, противозаконность, которую она способна вычленивать, выставить в полном свете и организовать как относительно замкнутую, но проницаемую среду. Тюрьма способствует установлению видимой, открытой, заметной противозаконности, неустранимой на определенном уровне и втайне полезной, одновременно строптивой и послушной. Она обрисовывает, изолирует и выявляет одну форму противозаконности, как бы символически резюмирующую все прочие ее формы, позволяя оставить в тени те, которые общество хочет – или вынуждено – терпеть. Эта форма есть, строго говоря, делинквентность. Не надо усматривать в делинквентности

самую интенсивную, самую вредную форму противозаконности, форму, которую уголовно-правовая машина должна пытаться устранить посредством тюремного заключения по причине ее опасности; скорее, она – проявление и следствие системы исполнения наказания (в частности, заключения), позволяющей дифференцировать, приспособлять и контролировать противозаконности. Несомненно, делинквентность – одна из форм противозаконности; конечно, она коренится в противозаконности; но она представляет собой противозаконность, которую «система карцера» со всеми ее разветвлениями захватила, фрагментировала, изолировала, пропитала собой, организовала и замкнула в определенной среде, придав ей инструментальную роль по отношению к другим противозаконностям. Словом, юридическая оппозиция противопоставляет законность и противозаконную практику, а стратегическая оппозиция – противозаконности и делинквентность.

Утверждение о том, что тюрьме не удалось уменьшить число преступлений, следует заменить, пожалуй, следующей гипотезой: тюрьма вполне преуспела в производстве делинквентности, особого типа, политически и экономически менее опасной – а иногда и полезной – формы противозаконности; в производстве делинквентов, казалось бы маргинальной, но на самом деле централизованно контролируемой среды; в производстве делинквента как патологического субъекта. Успех тюрьмы в борьбе вокруг закона и противозаконностей состоит в том, что она устанавливает «делинквентность». Мы видели, как система карцера заменила правонарушителя «делинквентом», а также «пришпилила» к судебной практике весь горизонт возможного знания. И этот процесс, что создает делинквентность в качестве объекта, составляет одно целое с политической операцией, которая разъединяет противозаконности и отделяет от них делинквентность. Тюрьма – шарнир, соединяющий эти два механизма; она позволяет им непрерывно усиливать друг друга, объективировать позади правонарушения делинквентность, укреплять делинквентность в движении противозаконностей. Успех тюрьмы настолько велик, что и через полтора века «провалов» тюрьма продолжает существовать, производя те же результаты, и мы испытываем сильнейшие угрызения совести, когда пытаемся ее низвергнуть.

* * *

Наказание в форме заключения производит – отсюда, несомненно, его долговечность – замкнутую, отделенную и полезную противозаконность. Циркуляция делинквентности, видимо, не является побочным продуктом тюрьмы, которая, наказывая, не преуспевает в исправлении; скорее, она – прямое следствие уголовно-исполнительной системы, которая, для того чтобы управлять противозаконными практиками, вовлекает некоторые из них в механизм «наказание-воспроизведение», где заключение – одна из основных деталей. Но почему и как тюрьма участвует в производстве делинквентности, с которой она призвана бороться?

Формирование делинквентности, образующей своего рода замкнутую противозаконность, в действительности имеет ряд преимуществ. Прежде всего, ее можно контролировать (посредством отслеживания людей, внедрения в группы, организации взаимного

доносительства): ведь вместо колеблющейся, беспорядочной массы населения, от случая к случаю совершающей противозаконности (грозящие распространиться), или численно размытых шаек бродяг, что захватывают в свои ряды, в скитаниях с места на место и в различных обстоятельствах, безработных, нищих, уклоняющихся от воинской повинности и иногда разрастаются (как это произошло в конце XVIII века) до такой степени, что становятся грозной силой, чинящей грабежи и смуты, – вместо них образуется довольно небольшая и замкнутая группа индивидов, которых удобно держать под постоянным надзором. Кроме того, поглощенную собой делинквентность можно направить в русло менее опасных форм противозаконности: удерживаемые под давлением контроля на краях общества, обреченные на жалкие условия существования, не имеющие связей с населением, которое могло бы их поддержать (как бывало некогда с контрабандистами или некоторыми формами бандитизма[523]), делинквенты неизбежно отступают к локализованной преступности, не пользующейся особой поддержкой населения, политически безвредной и экономически ничтожной. И эта сосредоточенная, контролируемая и обезоруженная противозаконность безусловно полезна. Она может быть полезна по отношению к другим противозаконностям: изолированная от них, обращенная на собственные внутренние организации, ориентированная на насильственные преступления, первыми жертвами которых часто оказываются бедные классы, зажатая со всех сторон полицией, получающая большие сроки с последующей неизменно «специализированной» жизнью, делинквентность – этот чужой, опасный и часто враждебный мир – блокирует или по крайней мере удерживает на довольно низком уровне обычные противозаконные практики (мелкие кражи и насилия, повседневные нарушения закона); она не дает им принять более широкие, более очевидные формы, словно действенность примера, ожидаемую некогда от зрелищных публичных казней, теперь ищут не столько в строгости наказаний, сколько в зримом, заметном существовании самой делинквентности: отличая себя от других распространенных противозаконностей, делинквентность служит их обузданию.

Но делинквентность допускает также и другое непосредственное применение. Приходит на ум пример колонизации. Однако это не самый убедительный пример. Действительно, хотя в период Реставрации и Палата депутатов, и генеральные советы многократно требовали высылки преступников, они хотели, в сущности, облегчить финансовые тяготы, связанные с содержанием аппарата заключения. И несмотря на все проекты, выдвинутые при Июльской монархии и предполагающие возможность участия делинквентов, недисциплинированных солдат, проституток и сирот в колонизации Алжира, закон 1854 г. формально исключил эту колонию из числа колониальных каторг; фактически, высылка в Гвиану или позднее в Новую Каледонию не имела реального экономического значения, несмотря на то что осужденных обязывали оставаться в колонии, где они отбыли наказание, количество лет, равное отбытому сроку (а в некоторых случаях – всю оставшуюся жизнь)[524]. По сути дела, использование делинквентности как среды одновременно обособленной и управляемой имело место главным образом на краях законности. Иными словами, в XIX веке создается также своего рода подчиненная противозаконность, организация которой как делинквентности, со всем вытекающим отсюда надзором, обеспечивает гарантированное послушание. Делинквентность, укрощенная противозаконность, есть агент противозаконности господствующих групп. В этом плане характерна организация сетей проституции в XIX веке[525]: постоянный полицейский контроль за здоровьем проституток, регулярное заключение их в тюрьму, крупномасштабное устройство домов терпимости,

четкая иерархия, поддерживавшаяся в среде проституции, контролирование ее осведомителями из числа делинквентов – все это позволяло направлять ее в нужное русло и получать благодаря целому ряду посредников огромные прибыли от сексуального удовольствия, которое все более настойчивое повседневное морализирование обрекало на полуподпольное существование и, естественно, делало дорогим; устанавливая цену удовольствия, прибыль с подавленной сексуальности и получая эту прибыль, среда делинквентности действовала заодно с корыстным пуританством: как незаконный сборщик налогов с противозаконных практик[526]. Торговля оружием, нелегальная продажа спиртных напитков в страны, где действует «сухой закон», и, ближе к нам, торговля наркотиками – тоже род этой «полезной делинквентности»: существование законного запрета создает поле противозаконных практик, и его можно контролировать, извлекая из него незаконную прибыль, посредством элементов, которые сами по себе противозаконны, но сделались управляемыми благодаря их организации как делинквентности. Эта организация есть инструмент для управления противозаконностями и их эксплуатации.

Она является также инструментом противозаконности, которой окружает себя само отправление власти. Политическое использование делинквентов – как осведомителей и провокаторов – было широко распространено задолго до XIX века[527]. Но после Революции эта практика приобрела совсем другой масштаб: внедрение в политические партии и рабочие объединения, вербовка головорезов для борьбы с забастовщиками и бунтовщиками, организация специальной полиции – действовавшей в прямой связи с легальной полицией и способной, если потребуется, стать своего рода параллельной армией, – вся внеправовая деятельность власти обеспечивалась отчасти массой подручных, образованной делинквентами: тайной полицией и резервной армией власти. Видимо, во Франции эти практики получили полное развитие в эпоху Революции 1848 г. и с захватом власти Луи-Наполеоном[528]. Таким образом, делинквентность – опирающаяся на систему наказания, сосредоточенную вокруг тюрьмы, – представляет собой отвод противозаконности в незаконное круговращение прибыли и власти господствующего класса.

Организация обособленной противозаконности, замкнутой делинквентности, была бы невозможна без развития полицейского надзора. Общий надзор за населением, бдительность – «немая, таинственная, неуловимая... око правительства, всегда открытое и следящее за всеми гражданами без различия, но не подвергающее их никакому принуждению... Незачем вписывать его в закон»[529]. Надзор за конкретными индивидами, предусмотренный кодексом 1810 г., за бывшими осужденными и всеми людьми, представшими перед судом по серьезному обвинению и признанными представляющими новую угрозу общественному покою. Но и надзор за кругами и группами, опасными с точки зрения осведомителей, которые почти все являлись бывшими делинквентами и как таковые подлежали полицейскому надзору: делинквентность, один из объектов полицейского надзора, служит также одним из его излюбленных инструментов. Все эти виды надзора предполагают организацию иерархии, частично официальной, частично тайной (в парижской полиции последнюю представляла главным образом «служба безопасности», включавшая в себя, помимо «открытых агентов» – инспекторов и капралов, – «тайных агентов» и осведомителей, движимых страхом перед наказанием или желанием получить вознаграждение)[530]. Они предполагают также создание системы документации, главная задача которой – выявление и идентификация преступников: обязательное описание

преступника прилагается к ордерам на арест и постановлениям судов присяжных, описание заносится в тюремные реестры, копии реестров судов присяжных и судов упрощенного производства каждые три месяца отправляются в министерства юстиции и генеральной полиции; несколько позже в министерстве внутренних дел создаются организованные в алфавитном порядке «картотеки правонарушителей», где резюмируются вышеупомянутые реестры; приблизительно в 1833 г., по аналогии с методом «натуралистов, библиотекарей, купцов, дельцов», начинают использовать систему карточек или индивидуальных бюллетеней, позволяющих без труда добавлять новые данные и в то же время находить по фамилии разыскиваемого преступника все относящиеся к нему сведения[531].

Делинквентность – поставляя тайных агентов, а также обеспечивая повсеместное проникновение полиции – является инструментом постоянного надзора за населением: аппаратом, позволяющим контролировать посредством самих делинквентов все общественное поле. Делинквентность действует как политическая обсерватория. В свою очередь, много позднее чем полиция, ее стали использовать статистики и социологи.

Но такой надзор мог осуществляться лишь в соединении с тюрьмой. Ведь тюрьма облегчает надзор за индивидами, когда они выходят на свободу: она позволяет вербовать осведомителей и умножает число взаимных доносов, способствует взаимным контактам правонарушителей, ускоряет организацию среды делинквентов, замкнутой на самой себе, но легко контролируемой; и все следствия того, что бывший заключенный не получает обратно свои права (безработица, запрет на проживание, вынужденное проживание в установленных местах, необходимость отмечаться в полиции), позволяют без труда принудить его к выполнению определенных задач. Тюрьма и полиция образуют парный механизм; вместе они обеспечивают во всем поле противозаконностей дифференциацию, отделение и использование делинквентности. Система полиция – тюрьма выкраивает из противозаконностей «ручную» делинквентность. Делинквентность, со всей ее спецификой, является результатом этой системы, но становится также ее колесиком и инструментом. Итак, следует говорить об ансамбле, три элемента которого (полиция, тюрьма, делинквентность) поддерживают друг друга и образуют непрерывное круговращение. Полицейский надзор поставляет тюрьме правонарушителей, тюрьма преобразует их в делинквентов, которые являются предметом и помощниками полицейского надзора, регулярно возвращающего некоторых из них в тюрьму.

Никакое уголовное правосудие не преследует всех противозаконных практик; иначе, используя полицию в качестве помощника, а тюрьму – как инструмент наказания, оно не оставляло бы неассимилируемого осадка «делинквентности». Уголовное правосудие следует рассматривать, скорее, как инструмент дифференцирующего контроля над противозаконностями. В этом отношении уголовное правосудие играет роль правового гаранта и принципа передачи. Оно – «переключатель» в общей экономике противозаконностей, другими элементами которой (не подчиненными правосудию, но равными ему) являются полиция, тюрьма и делинквентность. Посягновение полиции на правосудие и сила инерции, противопоставляемая правосудию тюремным институтом, – не новость, но и не следствие склероза или постепенного смещения власти; это структурное качество, характеризующее механизмы наказания в современных обществах. Юристы и судьи могут говорить что угодно, но уголовное правосудие со всем его зрелищным аппаратом призвано удовлетворять повседневные запросы машины надзора, наполовину

погруженной в тень, где происходит сцепление полиции и делинквентности. Судьи – служащие надзора[532], причем не очень строптивые. Насколько могут, они способствуют образованию делинквентности, т. е. дифференциации противозаконностей, контролю, подчинению и использованию некоторых из этих противозаконностей противозаконностью господствующего класса.

Об этом процессе, происходившем в первые тридцать-сорок лет XIX столетия, свидетельствуют два персонажа. Прежде всего, Видок[533]. Он был человеком старых противозаконностей[534], Жилем Блазом[535] на другом конце века. Но Видок быстро скатился к худшему: неуживчивости, авантюрам, надувательствам (обычно он сам и оказывался их жертвой), дракам и дуэлям. Он много раз вербовался в армию и дезертировал, имел дело с проституцией, картами, карманными кражами, а затем и вооруженным разбоем. Но почти мифическое значение Видока в глазах современников объясняется не этим его, возможно приукрашенным, прошлым и даже не тем фактом, что впервые в истории бывший каторжник, искупивший свою вину или просто откупившийся, стал префектом полиции, а скорее тем, что в его лице делинквентность ясно обнаружила свой двусмысленный статус как объекта и инструмента полицейской машины, действующей против нее и заодно с ней. Видок знаменует собой момент, когда делинквентность, отделенная от прочих противозаконностей, захватывается властью и обращается на самое себя. Тогда-то и происходит прямое и институциональное спаривание полиции и делинквентности: тревожный момент, когда делинквентность становится одним из винтиков власти. В прежние времена неотступным кошмаром был образ короля-чудовища – который являлся источником всякого правосудия, однако же был запятнан преступлениями. Теперь возникает другой страх: страх перед темным, тайным сговором между теми, кто отстаивает закон, и теми, кто нарушает его. Шекспировский век, когда верховная власть и низость соединялись в одном лице, ушел в прошлое; вскоре должна была начаться повседневная мелодрама полицейской власти и сообщничества между преступлением и властью.

Противоположностью Видока является его современник Ласенер. Его навеки гарантированное место в раю эстетов преступления просто поражает: ведь при всем желании, при всем рвении неопита он совершил, да и то весьма неумело, лишь несколько мелких преступлений. Поскольку сокамерники серьезно подозревали в нем «наседку» и хотели его убить[536], администрация тюрьмы Форс[537] вынуждена была встать на его защиту, и высший свет Парижа времен Людовика-Филиппа перед казнью устроил в его честь такой праздник, по сравнению с которым последующие литературные воскрешения выглядят разве что академической данью. Своей славой он не обязан ни размаху своих преступлений, ни искусному замыслу; поражает как раз их безыскусность. В огромной степени слава Ласенера объясняется видимой игрой – в его действиях и словах – противозаконности и делинквентности. Мошенничество, дезертирство, мелкие кражи, тюремное заключение, возобновление завязавшихся в тюрьме дружеских связей, взаимный шантаж, рецидивизм, вплоть до последней, неудачной попытки убийства, – все это обнаруживает в Ласенере типичного делинквента. Но он заключал в себе, по крайней мере потенциально, горизонт противозаконностей, которые до недавнего времени представляли угрозу: этот разорившийся мещанин, получивший образование в хорошем коллеже, хорошо говоривший и писавший, поколением раньше был бы революционером, якобинцем,

цареубийцей[538]; будь он современником Робеспьера, его отрицание закона приняло бы непосредственно историческую форму. Он родился в 1800 г., примерно в то же время, что и Жюльен Сорель[539], в его характере можно различить те же задатки; но они нашли выражение в краже, убийстве и доносителстве. Все они вылились в совершенно тривиальную делинквентность: в этом смысле Ласенер – персонаж успокаивающий. Если они и напоминают о себе, то лишь в его теоретизировании о преступлениях. В момент смерти Ласенер демонстрирует торжество делинквентности над противозаконностью, или, скорее, образ противозаконности, которая, с одной стороны, втянута в делинквентность, а с другой – смещена в сторону эстетики преступления, т. е. искусства привилегированных классов. Различима симметрия между Ласенером и Видоком, которые в одну и ту же эпоху сделали возможным обращение делинквентности на самое себя, конституировав ее как замкнутую и контролируемую среду и сместив к полицейским методам всю практику делинквентности, становившейся законной противозаконностью власти. Что парижская буржуазия чувствовала Ласенера, что его камера была открыта для знаменитых посетителей, что в последние дни жизни его осыпали похвалами (его, чьей смерти простые заключенные тюрьмы Форс требовали раньше, чем судьи, его, сделавшего в суде все возможное, чтобы возвести на эшафот своего сообщника Франсуа), – все это имело объяснение: ведь в его лице превозносили символический образ противозаконности, удерживаемой в рамках делинквентности и преобразованной в дискурс, т. е. ставшей вдвойне безопасной; буржуазия придумала для себя новое удовольствие, которым пока еще отнюдь не пресытилась. Не надо забывать, что знаменитая смерть Ласенера заглушила шум вокруг покушения Фиески, одного из последних цареубийц, воплощавшего противоположный образ мелкой преступности, приводящей к политическому насилию. Не надо забывать, что Ласенер был казнен за несколько месяцев до ухода последней цепи каторжников, сопровождавшегося скандальными событиями. Эти два празднества пересеклись исторически. Действительно, Франсуа, сообщник Ласенера, был одним из самых известных персонажей цепи, покидавшей Париж 19 июля[540]. Одно из празднеств продолжало старые ритуалы публичных казней, рискуя воскресить народные противозаконности, чинимые вокруг преступников. Оно должно было быть запрещено, поскольку преступник отныне должен был занимать лишь то пространство, что отводится для делинквентности. Другое – начинало теоретическую игру противозаконности привилегированных; скорее, оно знаменовало момент, когда политические и экономические противозаконности, практиковавшиеся буржуазией, были дублированы их теоретическим и эстетическим выражением: «Метафизика преступления» – термин, часто связываемый с Ласенером; «Убийство как одно из изящных искусств» было опубликовано в 1849 г.[541]

* * *

Производство делинквентности и захват ее карательным аппаратом следует понимать правильно: не как результаты, достигнутые раз и навсегда, а как тактики, которые изменяются в зависимости от того, насколько они приблизились к своей цели. Разрыв между делинквентностью и другими противозаконностями, то, как она отворачивается от них, ее подчинение господствующими противозаконностями – все это четко проявляется в способе действия системы полиция – тюрьма; однако все это всегда сталкивалось с сопротивлением,

вызывало борьбу и ответные действия. Возведение барьера, отделяющего делинquentов от всех тех низших слоев населения, из которых они вышли и с которыми сохраняют связь, было трудной задачей, особенно, несомненно, в городской среде[542]. Над ней долго и упорно трудились. Ее решение потребовало применения общих методов «морального вразумления» бедных классов, которое, кроме того, имело решающее значение как с экономической, так и с политической точки зрения (имеется в виду формирование, так сказать, «базового правового сознания», необходимого с того времени, когда на смену обычаю пришел свод законов; обучение элементарным правилам отношения к собственности и бережливости, дисциплине труда; выработка навыка оседлой жизни и сохранения стабильной семьи и т. д.) Более специфические методы были применены для того, чтобы укрепить враждебность народных слоев по отношению к делинquentам (использование бывших заключенных в качестве осведомителей, шпионов, штрейкбрехеров и головорезов). Систематически смешивали нарушения общего права с нарушениями неповоротливого законодательства о расчетных книжках, забастовках, коалициях, ассоциациях[543], для которых рабочие требовали политического статуса. Акции рабочих регулярно обвиняли в том, что они вдохновлены, если не руководимы обыкновенными преступниками[544]. Приговоры часто обнаруживали большую строгость по отношению к рабочим, нежели к ворам[545]. В тюрьмах эти две категории заключенных смешивались, причем лучше обращались с нарушителями общего права, а заключенные журналисты и политики обычно содержались отдельно. Словом, налицо целая тактика смешения, нацеленная на поддержание постоянного состояния конфликта.

К этому добавлялось продолжительное предприятие, призванное накинуть на обычное восприятие делинquentов совершенно определенную сетку: представить их как находящихся рядом, как вездесущих и повсюду опасных. Такова была функция рубрики «хроника происшествий», которая получила огромное место в части прессы и под которую стали отводить целые газеты[546]. Хроника криминальных происшествий благодаря ее ежедневной избыточности делает привычной систему судебного и полицейского надзора, разбивающую общество на ячейки; изо дня в день она повествует о своего рода внутренней войне с безликим врагом; в этой войне она выступает как ежедневная сводка, сообщающая об опасности или победе. Криминальный роман, который начал публиковаться в газетах и дешевой массовой литературе, играет вроде бы противоположную роль. Его функция состоит, главным образом, в том, чтобы показать, что делинquent принадлежит к совершенно другому миру, далекому от привычной повседневной жизни. Этот чуждый мир сначала – дно общества («Парижские тайны», Рокамболь[547]), затем – сумасшествие (особенно во второй половине века), наконец – преступление в высшем обществе (Арсен Люпэн[548]). Соединение хроники происшествий с детективным романом произвело за последние сто или более лет массу «историй о преступлениях», где делинquentность предстает сразу очень близкой и совершенно чуждой, постоянной угрозой для повседневной жизни, но крайне далекой по своему происхождению и мотивам от той среды, в которой она имеет место как обычная и экзотическая одновременно. Придаваемое делинquentности значение и окружающий ее избыточный дискурс очерчивают вокруг нее линию, которая возвышает ее и ставит на особое место. Какая противозаконность могла узнать себя в столь страшной делинquentности, имеющей столь чуждое происхождение?..

Эта многообразная тактика принесла плоды, что доказывают кампании народных газет против труда заключенных[549], против «тюремного комфорта», за выполнение заключенными самой тяжелой и опасной работы, против чрезмерного интереса филантропов к преступникам, против литературы, возвышающей преступление[550]; это подтверждает и общее недоверие, присущее всему рабочему движению, к бывшим осужденным по нормам общего права. «На заре XX века, – пишет Мишель Пэрро, – окруженная высочайшей из всех стен – презрением, тюрьма наконец замыкается вокруг бесславного племени»[551].

Однако эта тактика отнюдь не восторжествовала и не привела к полному разрыву между делинквентами и низшими слоями. Отношения между беднейшими классами и правонарушением, взаимоположение пролетариата и городской черни требуют изучения. Но ясно одно: делинквентность и подавление рассматривались в рабочих движениях 1830–1850 гг. как важная проблема. Несомненно, имела место враждебность по отношению к делинквентам; но и борьба вокруг системы наказания. Политический анализ преступности, предлагаемый народными газетами, часто буквально во всем противоречит характеристике, даваемой филантропами (бедность – распутство – леность – пьянство – порок – кража – преступление). Источник делинквентности такие газеты усматривают не в преступном индивиде (который является просто поводом или первой жертвой), а в обществе: «Человек, убивающий вас, не волен не убивать. Ответственность за убийство несет общество или, вернее, дурная организация общества»[552]. Или потому, что общество не способно удовлетворить его важнейшие потребности, или потому, что оно уничтожает или искореняет в нем задатки, чаяния и нужды, которые впоследствии напоминают о себе в преступлении: «Плохое образование, не нашедшие применения способности и силы, ум и душа, подавленные вынужденным трудом в слишком нежном возрасте»[553] Но эта преступность, порожденная нуждой или подавлением, скрывает за вниманием к себе и вызываемым ею неодобрением другую преступность, которая иногда является ее причиной и всегда – продолжением. Это делинквентность наверху, скандальный пример, источник нищеты и толчок к бунту для бедных. «В то время как нищета усеивает ваши мостовые трупами и наполняет ваши тюрьмы ворами и убийцами, где же мошенники из высшего света?.. Самые развращающие примеры, самый возмутительный цинизм, самый наглый разбой... Не боитесь ли вы, что бедняк, которого сажают на скамью подсудимых за кусок хлеба, схваченный с прилавка булочника, однажды возмутится и не оставит камня на камне от Биржи, дикого вертепа, где безнаказанно растаскивают государственные сокровища и семейные состояния?»[554] Но к делинквентности богатых законы терпимы, а когда дело доходит до суда, они могут рассчитывать на снисходительность судей и сдержанность прессы[555]. Отсюда идея, что уголовные процессы могут стать поводом для политического диспута, что надо пользоваться спорными процессами или судебными делами, возбужденными против рабочих, для изобличения деятельности уголовного правосудия: «Отныне суды – уже не таковы, как прежде, уже не место, где обнажаются нищета и язвы нашей эпохи, не род клеймения, ставящего в один ряд несчастных жертв общественного беспорядка. Они – арена, оглашаемая воинственными кличами»[556]. Отсюда также идея, что политические заключенные – поскольку они, как и делинквенты, знакомы с системой наказания на собственном опыте, но, в отличие от последних, могут быть услышаны – должны быть глашатаями всех заключенных. Именно они должны просветить «почтенного французского буржуа, который не имеет представления о наказаниях, налагаемых после

помпезных обвинительных речей генерального прокурора»[557].

Для этой переоценки уголовного правосудия и границы, заботливо очерчиваемой им вокруг делинквентности, характерна тактика, которую можно назвать «контр“ хроникой происшествий”». Так, рабочие газеты стремятся представить преступления и судебные процессы совсем иначе, нежели те, что, подобно «Gazette des tribunaux», «наливаются кровью», «питаются тюрьмой» и обеспечивают ежедневный «мелодраматический репертуар»[558]. «Контр“ хроника происшествий”» систематически подчеркивает факты делинквентности в буржуазной среде и показывает, что именно буржуазия – класс, пораженный «физическим вырождением» и «моральным разложением»; рассказы о преступлениях, совершенных простолюдными, она заменяет описанием нищеты, в какую ввергают простых людей эксплуататоры их труда, которые буквально морят их голодом и убивают[559]; она показывает, какая доля ответственности в уголовных процессах против рабочих должна быть перенесена на работодателей и общество в целом. Короче говоря, конечная цель состоит в том, чтобы опрокинуть монотонный дискурс о преступлении, стремящийся обособить преступление как уродство и переложить вину на беднейший класс.

В полемике против уголовно-правовой системы фурийеры, несомненно, пошли дальше других. Пожалуй, они первыми выработали политическую теорию, которая в то же время показывает позитивное значение преступления. Хотя преступление, по их мнению, есть результат «цивилизации», оно (благодаря самому этому факту) является и оружием против нее. В нем заложена сила и посул. «Социальный порядок, над которым властвует неизбежность его репрессивного принципа, продолжает убивать с помощью палача или тюрем тех, чей прирожденно твердый нрав отвергает его предписания или пренебрегает ими, кто слишком силен, чтобы оставаться в тугих пеленках, кто вырывается и рвет их в клочья, людей, которые не желают оставаться детьми»[560]. Стало быть, нет преступной природы, а есть столкновение сил, которое в зависимости от класса, к которому принадлежат индивиды[561], приводит их во власть или в тюрьму: нынешние судьи, родись они бедными, были бы каторжниками; каторжники же, будь они благородного происхождения, «заседали бы в судах и вершили правосудие»[562]. В конечном счете, существование преступления счастливо демонстрирует «несгибаемость человеческой природы». В преступлении следует видеть не слабость или болезнь, а бурлящую энергию, «взрыв протеста во имя человеческой индивидуальности», что, несомненно, объясняет странную чарующую силу преступления. «Если бы не преступление, пробуждающее в нас множество онемелых чувств и полугасших страстей, мы бы куда дольше оставались несобранными, так сказать расслабленными»[563]. А значит, преступление является, возможно, политическим инструментом, который может оказаться столь же полезным для освобождения нашего общества, сколь и для освобождения негров; действительно, разве последнее произошло бы без преступления? «Отравления, поджоги, а порой и бунт свидетельствуют о кричащей бедственности социального положения»[564]. Заключение? – «Самая несчастная и самая угнетенная часть человечества». «La Phalange» иногда принимала современную эстетику преступления, но имела при этом совершенно другую цель.

Отсюда – использование хроники происшествий, с тем чтобы не просто вернуть противнику упрек в аморальности, но и выявить борьбу противоположных сил. «La Phalange»

рассматривает уголовные дела как столкновение, запрограммированное «цивилизацией», крупные преступления – не как чудовищные деяния, но как неизбежный возврат и восстание подавленного[565], а мелкие противозаконности – не как неустрашимые края общества, а как гул, доносящийся с самого поля боя.

Обратимся теперь, после Видока и Ласенера, к третьему персонажу. Он сделал всего один краткий выход; его известность вряд ли продержалась более одного дня. Он был лишь мимолетным образом мелких противозаконностей: тринадцатилетний мальчуган без крова и семьи, обвиненный в бродяжничестве. Приговоренный к двум годам исправительной колонии, он, несомненно, надолго попал в круговорот делинквентности. Конечно, он остался бы незамеченным, если бы не противопоставил дискурсу закона, сделавшего его делинквентом (больше даже во имя дисциплин, чем в соответствии с кодексом), дискурс противозаконности, которая устояла перед принуждениями и обнаружила недисциплинированность, существующую систематически двусмысленным способом – как беспорядочное устройство общества и как утверждение непреложных прав. Все противозаконности, расцененные судом как правонарушения, обвиняемый переформулировал как утверждение жизненной силы: отсутствие жилья – как бродяжничество, отсутствие хозяина – как независимость, отсутствие работы – как свободу, отсутствие организованного и регулярного труда – как полноту дней и ночей. Это столкновение противозаконности с системой «дисциплина – наказание – делинквентность» было воспринято современниками (точнее, оказавшимся в суде журналистом) как комическое проявление схватки уголовного закона с мелкими фактами недисциплинированности. И действительно, само дело и последовавший приговор представляли сердцевину проблемы законного наказания в XIX веке. Ирония, с какой судья пытается окружить недисциплинированность величием закона, и дерзость, с какой обвиняемый возвращает ее в число фундаментальных прав человека, создают показательную сцену для уголовного правосудия.

Поэтому ценен отчет, появившийся в «Gazette des tribunaux»[566]: «Председатель: Спать надо дома. – Беас: А у меня есть дом? – Вы постоянно бродяжничаете. – Я тружусь, чтобы заработать на жизнь. – Ваше общественное положение? – Мое общественное положение. Начать с того, что их у меня не меньше тридцати шести. Я ни на кого не работаю. Я давно уже делаю что подвернется. У меня днем одно положение, ночью – другое. Днем, например, я раздаю рекламки всем прохожим, гоняюсь за прибывшими дилижансами и переносу багаж пассажиров, хожу колесом по авеню Нейи[567]. Ночью спектакли, я распаиваю дверцы карет, продаю билеты. У меня много дел. – Лучше бы вы поступили учеником в хороший дом. – Вот еще! Хороший дом, ученичество – тоска зеленая. И потом хозяин... вечно ворчит, никакой свободы. – Ваш отец не зовет вас домой? – Нет у меня отца. – А ваша мать? – Нет у меня ни матери, ни родственников, ни друзей. Я свободен и независим». Услышав приговор – два года исправительной колонии, – Беас «скорчил мерзкую мину, а потом вернулся в свое обычное хорошее настроение: “Два года, никак не больше двадцати четырех месяцев. Ну, в путь”».

Именно эту сцену перепечатала «La Phalange». И значение, придаваемое ей газетой, чрезвычайно неторопливый, тщательный ее разбор показывают, что фурьеристы усматривали в столь обычном деле игру фундаментальных сил. С одной стороны, силы

«цивилизации», олицетворяемой судьей – «живой законностью, духом и буквой закона». Она обладает собственной системой принуждения; по видимости это свод законов, на деле же – дисциплина. Необходимо иметь место, локализацию, принудительное «прикрепление». «Надо спать дома», – говорит судья, поскольку, по его мнению, все должны иметь дом, жилище, будь то роскошное или жалкое; задача судьи – не обеспечить жильем, но заставить каждого индивида жить дома. Кроме того, индивид должен иметь положение, узнаваемую идентичность, раз и навсегда установленную индивидуальность. «Ваше общественное положение? – Этот вопрос – простейшее выражение порядка, утвердившегося в обществе. Бродяжничество ему отвратительно, оно дестабилизирует его. Необходимо иметь прочное, постоянное общественное положение, думать о будущем, о безопасном будущем, о том, чтобы гарантировать его от любого посягательства». Наконец, надлежит иметь хозяина, занимать определенное место на иерархической лестнице. Человек существует, только когда он вписан в определенные отношения господства. «У кого вы работаете? Иными словами, раз вы не хозяин, то должны быть слугой. Дело не в вашей индивидуальной удовлетворенности, а в необходимости поддерживать порядок». Дисциплине в облике закона противостоит именно противозаконность, предъявляющая себя как право; не столько уголовное правонарушение, сколько недисциплинированность является причиной образования бреши. Недисциплинированность языка: неправильная грамматика и тон реплик «указывают на резкий раскол между обвиняемым и обществом, которое в лице председателя суда обращается к нему в корректной форме». Недисциплинированность, вызываемая врожденной, непосредственной свободой: «Он прекрасно понимает, что подмастерье, рабочий – раб, а рабство плачевно... Он прекрасно понимает, что уже не сможет наслаждаться этой свободой, этой владеющей им потребностью движения в устоявшемся порядке жизни... Он предпочитает свободу, и важно ли, что другие считают ее беспорядком? Свободу, иными словами – спонтанное развитие индивидуальности, “дикое” развитие, а значит, грубое и недалекое, но естественное и инстинктивное». Недисциплинированность в семейных отношениях: не имеет значения, был ли этот несчастный ребенок брошен или убежал сам, потому что он «не смог бы вынести рабство воспитания, родительского или иного». И во всех этих мелких недисциплинированностях в конечном счете отвергается «цивилизация» и пробивает себе путь «дикость»: «Работа, лень, беззаботность, распутство, все что угодно, только не порядок; в чем бы ни заключались занятия и распутство, это жизнь дикаря, живущего одним днем и не думающего о будущем»[568].

Несомненно, анализы в «La Phalange» не могут рассматриваться как типичные для тогдашних дискуссий о преступлении и наказании в массовых газетах. Тем не менее они принадлежат к контексту этой полемики. Уроки фурьеристов не прошли втуне. Они получили отклик, когда во второй половине XIX века анархисты, избрав своей мишенью уголовно-правовую машину, поставили политическую проблему делинквентности; когда они желали видеть в ней самое боевое отвержение закона; когда они пытались не столько возвеличить бунт делинквентов как геройство, сколько отделить делинквентность от захвативших ее буржуазной законности и противозаконности; когда они хотели восстановить или создать политическое единство народных противозаконностей.

Глава 3. Карцер

Если говорить о дате окончательного формирования тюремной системы, то я не назвал бы ни 1810 г. (когда был принят уголовный кодекс), ни даже 1844 г. (когда был введен закон, установивший принцип содержания заключенных в камерах). Я не остановился бы, наверное, и на 1938 г., когда были опубликованы труды Шарля Люка, Моро-Кристофа и Фоше, посвященные тюремной реформе. Я выбрал бы 22 января 1840 г., день официального открытия колонии для несовершеннолетних преступников в Меттрэ. Или, пожалуй, тот не отмеченный в календаре, но знаменательный день, когда один ребенок из Меттрэ сказал в агонии: «Как жаль, что я покидаю колонию так скоро»[569]. Это была смерть первого святого мученика пенитенциарной системы. Несомненно, за ним последовало много блаженных – если верить бывшим заключенным колоний, которые, вознося хвалу новым политикам наказания тела, заметили: «Мы бы предпочли побои, но камера нам больше подходит».

Почему Меттрэ? Потому, что это дисциплинарная форма в ее крайнем выражении; модель, в которой сосредоточены все принудительные технологии поведения. В ней – «обитель, тюрьма, коллеж и полк». Маленькие, в высшей степени иерархизированные группы, на которые разделены заключенные, построены сразу по пяти моделям: семьи (каждая группа представляет собой «семью», состоящую из «братьев» и двух «старших»), армии (каждая семья, подчиняющаяся главе, подразделяется на две роты; каждой из них руководит помощник главы; каждый заключенный имеет свой номер, его обучают азам военных упражнений; ежедневно проверяется чистота помещения, еженедельно производится осмотр одежды, трижды в день – переключка), мастерской (с начальниками и старшими мастерами, обеспечивающими регулярность работы и отвечающими за обучение самых молодых заключенных), школы (каждый день – час-полтора уроков; обучают учителя и помощники глав), наконец – суда (ежедневно в общем зале происходит «распределение правосудия»: «Малейшее неповиновение наказывается, и лучший способ избежать серьезных нарушений – строжайше карать даже за самые ничтожные проступки; в Меттрэ наказывают за пустое слово»; основное наказание – заключение в камеру: ведь «изоляция – лучшее средство воздействия на нравственность детей; именно в одиночестве прежде всего голос религии, даже если он никогда не трогал их сердца, обретает всю свою эмоциональную силу»[570]; всякое заведение, функционирующее как институт наказания и отличное от тюрьмы, имеет своей высшей точкой камеру, на стенах которой черными буквами начертано: «Бог вас видит»).

Это взаимное наложение различных моделей позволяет показать специфику функции «муштры». Начальники и их помощники в Меттрэ должны быть не только судьями, учителями, старшими мастерами, младшими офицерами или «родителями», но в некотором смысле совмещать все эти роли в совершенно особом методе вмешательства. Они являются своего рода специалистами по поведению: инженерами поведения, ортопедами индивидуальности. Они должны создавать тела одновременно послушные и способные. Они

контролируют девять – десять часов ежедневной работы (ремесленной или сельскохозяйственной); они руководят прохождением групп на смотр, физическими упражнениями, военной подготовкой, следят за подъемом по утрам и своевременным отходом ко сну, маршировкой под рожок или свисток; они заставляют делать гимнастику[571], следят за чистотой и присутствуют при мытье детей. Муштра сопровождается постоянным наблюдением. Из повседневного поведения колонистов непрерывно извлекается знание, оно используется как инструмент постоянной оценки: «При поступлении в колонию ребенка подвергают своего рода допросу, чтобы получить сведения о его происхождении, положении его семьи, проступке, приведшем его на скамью подсудимых, и обо всех других правонарушениях, совершенных за его короткую и часто очень несчастную жизнь. Эти сведения записываются в таблицу, куда, в свою очередь, вносится вся информация о каждом колонисте, его пребывании в колонии и месте, где ему разрешено жить по освобождении»[572]. Такого рода моделирование тела делает возможным познание индивида, обучение техническому мастерству, закрепляет определенные виды поведения, а приобретение навыков неразрывно связано с установлением отношений власти; формируются хорошие сельскохозяйственные рабочие, выносливые и умелые. В ходе самой этой работы при надлежащем техническом контроле создаются подчиненные субъекты и знание о них, на которое можно положиться. Эта дисциплинарная техника, воздействующая на тела, производит двойное следствие: знание «души» и обеспечение подчинения. Вот результат, свидетельствующий об эффективности муштры: в 1848 г., когда «революционная лихорадка охватила все умы, когда школы Анжера, Ла Флеш и Альфора и даже коллежи взбунтовались, спокойствие колонистов Меттрэ лишь возросло»[573].

Образцовость Меттрэ особенно ярко проявляется в признанной специфике осуществляемой там муштры. Муштра соседствует с другими формами контроля, на которые она опирается: с медициной, общим образованием и религиозным наставлением. Но она не смешивается с ними совершенно. Не смешивается она и с собственно управлением. «Главы» семей и их помощники, воспитатели и старшие мастера должны были жить как можно ближе к колонистам. Одежда их была «почти такой же скромной», как у колонистов. Они практически никогда не покидали воспитанников, надзирали за ними днем и ночью, создавали в их среде сеть постоянного наблюдения. А для того, чтобы формировать самих старших, в колонии действовала специальная школа. Существенно важный элемент программы состоял в том, чтобы подвергнуть будущие руководящие кадры тому же обучению и тем же принуждениям, что и воспитанников: «В качестве учеников они подчиняются дисциплине, какую впоследствии будут насаждать в качестве учителей». Их обучали искусству отношений власти. Это первая педагогическая школа чистой дисциплины: «пенитенциарное» здесь не просто проект, ищущий своего обоснования в «гуманности» и оснований – в «науке», но техника, которая изучается, передается и подчиняется общим нормам. Практика, нормализующая посредством силы поведение недисциплинированных или опасных, в свою очередь, может быть «нормализована» путем технического совершенствования и рациональной рефлексии. Дисциплинарная техника становится «дисциплиной», которая тоже имеет свою школу.

Историки гуманитарных наук относят возникновение научной психологии к этому же времени: тогда же Вебер[574] начал использовать свой маленький циркуль для измерения

ощущений. То, что происходит в Меттрэ (и, чуть раньше или позже, в других европейских странах), явно относится к совершенно иному порядку. Это возникновение или, скорее, институциональное определение, как бы крещение, нового типа контроля – одновременно знания и власти – над индивидами, противящимися дисциплинарной нормализации. И все же, несомненно, появление этих профессионалов дисциплины, нормальности и подчинения равнозначно измерению дифференциального порога в формировании и развитии психологии. Скажут, что количественная оценка чувственных реакций могла по крайней мере обосновать себя за счет авторитета рождающейся физиологии и что уже по одной этой причине она вправе претендовать на место в истории знания. Но контроль за нормальностью был прочно вмонтирован в медицину или психиатрию, что гарантировало ему своего рода «научность»; он опирался на судебный аппарат, который прямо или косвенно обеспечивал ему ручательство закона. Таким образом, под покровительством двух солидных, опекунов, служа им связью или местом обмена, продуманная техника контроля над нормами продолжает развиваться вплоть до настоящего дня. Со времен маленькой школы в Меттрэ институциональные и специфические поддержки дисциплинарных методов стали более многочисленными. Их механизмы количественно умножились и распространились вширь. Разрослись их связи с больницами, школами, государственной администрацией и частными предприятиями. Осуществляющих их лиц стало больше, усилилась их власть, выросла техническая квалификация. Специалисты по недисциплинированности продолжили свой род. В нормализации нормализующей власти, в организации власти – знания над индивидами школа в Меттрэ составила эпоху.

* * *

Но почему мы выбрали этот момент в качестве завершающей точки формирования определенного искусства наказывать, которое почти в прежнем виде практикуется поныне? Именно потому, что наш выбор несколько «несправедлив». Потому что он помещает «конец» процесса на обочинах уголовного права. Потому что Меттрэ – тюрьма, но не вполне: тюрьма, поскольку там отбывали заключение юные правонарушители, осужденные судами; и все же нечто иное, поскольку там содержались несовершеннолетние, обвиненные, но оправданные по 66 статье Кодекса, а также, как в XVIII веке, пансионеры, помещенные туда родителями в порядке наказания. Меттрэ как карательная модель располагается на границе собственно наказания. Это наиболее известный из целого ряда институтов, которые, далеко за пределами уголовного права, образовали то, что можно назвать «карцерным архипелагом».

Однако общие принципы, великие кодексы и последующие законодательства ясно говорили: никакого заключения «вне закона», без решения компетентного судебного органа, пора покончить с самочинными и все еще распространенными заточениями. И все же от самого принципа заключения «помимо» уголовного права фактически никогда не отказывались[575]. И если машина великого классического заключения была частично (лишь частично) демонтирована, то очень скоро ее вернули к жизни, переоборудовали и в некоторых отношениях усовершенствовали. Но что еще важнее, посредством тюрьмы ее привели в соответствие, с одной стороны, с законными наказаниями, а с другой – с дисциплинарными механизмами. Границы между заключением, наказаниями по решению суда (и дисциплинарными заведениями, размытые уже в классическом веке, начинают

стираться, образуя огромный континуум карцера, распространяющий пенитенциарные методы даже на самые невинные дисциплины, доводящий дисциплинарные нормы до самой сердцевины уголовно-правовой системы и воздействующий на любое правонарушение, мельчайшую неправильность, отклонение или аномалию, угрозу делинквентности. Тонкая, градуированная «карцерная» сеть с компактными заведениями, но и дробными и рассеянными методами заняла место самоуправного, массового и плохо интегрированного заключения классического века.

Не будем восстанавливать здесь всю ткань отношений, составлявшую сначала непосредственное окружение тюрьмы, а затем распространявшуюся все далее и далее вовне. Достаточно указать несколько вех, чтобы понять ее размах, и несколько дат, чтобы оценить ее раннее развитие.

В центральных тюрьмах были сельскохозяйственные отделения (первым примером стала тюрьма Гайона в 1824 г., за ней последовали тюрьмы Фонтевро, Дуэра и Буляра). Существовали колонии для бедных, беспризорных и бродячих детей (Пети-Бур была открыта в 1840, Оствальд – в 1842 г.). Были приюты, дома милосердия и благотворительные заведения для девиц-преступниц, «боящихся думать о выходе в беспорядочный мир», для «бедных невинных девочек, которым угрожает ранняя порочность из-за безнравственности матерей», или для несчастных девушек, подбираемых у дверей больниц и в меблированных комнатах. Были исправительные колонии, предусмотренные законом 1850 г.: оправданные или осужденные несовершеннолетние должны были «воспитываться сообща в строгой дисциплине и использоваться на работах в сельском хозяйстве и близких к нему отраслях промышленности»; позднее к ним присоединяют несовершеннолетних, приговоренных к ссылке без лишения прав, а также «порочных и строптивых воспитанников детских домов»[576]. И, все больше отдаляясь от системы наказания в собственном смысле слова, «карцерные» круги расширяются, форма тюрьмы медленно ослабевает и наконец полностью исчезает: здесь учреждения для брошенных или нищих детей, сиротские приюты (как Нэхоф или Мэниль-Фирмен), заведения для подмастерьев (вроде реймского Вифлеема или Дома в Нанси); еще дальше отстоят заводы-монастыри, например в Ла Соважэр, а затем в Тараре и Жюжюрьё (работницы поступали сюда, когда им было примерно тринадцать, долгие годы жили в заточении, выходя во внешний мир только под надзором, получали не зарплату, а содержание и премии за усердие и хорошее поведение, которыми могли воспользоваться лишь по выходе). И затем, еще дальше, имелся целый ряд заведений, которые не следуют модели «компактной» тюрьмы, но используют некоторые карцерные механизмы: это благотворительные общества, организации нравственного совершенствования, бюро, занимающиеся распределением помощи и надзором, рабочие городки и бараки: их самые примитивные и неразвитые формы еще несут на себе все совершенно явные следы пенитенциарной системы[577]. И наконец, эта широкая «карцерная» сеть объединяет все дисциплинарные механизмы, функционирующие по всему обществу.

Мы видели, что тюрьма преобразовала в сфере уголовно-правовой юстиции карательную процедуру в пенитенциарную технику. Карцерный архипелаг переносит эту технику из тюремного института на все общественное тело, вызывая несколько важных последствий.

Этот огромный механизм устанавливает медленную, непрерывную и незаметную градацию, которая обеспечивает естественный переход от беспорядка к правонарушению и обратно – от нарушения закона к отклонению от правила, среднего, требования, нормы. В классическую эпоху, несмотря на определенную общую отсылку к проступку в широком смысле слова[578], порядки правонарушения, греха и дурного поведения были отделены друг от друга, поскольку каждый из них был сопряжен с особыми критериями и инстанциями (суд, епитимья, тюремное заключение). Лишение свободы, использующее механизмы надзора и наказания, действует, напротив, в соответствии с принципом относительной непрерывности. Непрерывности самих институтов, которые отсылают друг к другу (государственная помощь и сиротский дом, исправительное заведение, каторга, дисциплинарный батальон, тюрьма; школа и благотворительное общество, мастерская, дом призрения, пенитенциарный монастырь; рабочий городок, больница и тюрьма). Непрерывности критериев и механизмов наказания, которые, начиная с простого отклонения, постепенно ужесточают правила и утяжеляют наказание. Непрерывной градации органов власти, институционализированных, специализированных и компетентных (в порядке знания и порядке власти), которые, не прибегая к произволу, а в строгом соответствии с правилами, посредством констатации и оценки устанавливают иерархию, дифференцируют, санкционируют, наказывают и постепенно переходят от санкции против отклонения к наказанию преступления. «Карцер» с его многочисленными диффузными или компактными формами, институтами контроля или ограничения, осторожного надзора и настойчивого принуждения обеспечивает качественную и количественную передачу наказаний; выстраивает в ряд или располагает в сложном рисунке малые и большие наказания, щадящие и суровые формы обращения, плохие оценки и мягкие приговоры. Малейшая дисциплина как бы сулит: «Ты кончишь каторгой», – а самая строгая тюрьма говорит приговоренному к пожизненному заключению: «Я замечу любое отклонение в твоём поведении». Всеобщность карательной функции, которую XVIII век искал в технологии представлений и знаков, разработанной «идеологами», опирается теперь на распространение, на материальную, сложную, рассеянную, но сцементированную арматуру различных «карцерных» устройств. В результате определенное общее означаемое объединяет мельчайшую неправильность и величайшее преступление: это уже не проступок и не покушение на интересы общества, а отклонение и аномалия; именно оно неотступно преследует школу, суд, сумасшедший дом или тюрьму. Оно делает всеобщей в плане значения ту функцию, которую карцер делает всеобщей в плане тактики. Заменяя врага государя, враг общества превращается в девиантного индивида, несущего в себе многогранную опасность беспорядка, преступления и сумасшествия. Карцерная сеть связывает множеством отношений два длинных многосложных ряда – карательное и ненормальное.

2

Карцер с его плетением позволяет вербовать крупных «делинквентов». Он организует то, что можно назвать «дисциплинарными жизненными путями», на которых под видом исключений и отторжений приводится в действие механизм проработки. В классическую эпоху на задворках или в щелях общества существовала смутная, терпимая и опасная область «внезакопия» или по крайней мере того, что ускользало от когтей власти; неопределенное пространство, место формирования и прибежище преступности. Там по

воле случая и судьбы сталкивались бедность, безработица, преследуемая невинность, хитрость, борьба с властью имущими, отказ исполнять обязанности, попрание законов и организованная преступность. Пространство авантюры, которое обстоятельно и всяк на свой лад осваивали Жиль Блаз, Шеппард и Мандрэн. Через игру дисциплинарных различий и разветвлений XIX столетие проложило четкие пути, которые в рамках существующей системы посредством одних и тех же механизмов прививают послушание и производят делинквентность. Складывалась своего рода дисциплинарная «формация», непрерывная и принудительная, имевшая в себе нечто от педагогического плана и профессиональной сети. Она предопределяла жизненные пути, такие же надежные, такие же предсказуемые, как карьера государственных людей: благотворительные организации и общества, обучение ремеслу с проживанием у мастера, колонии, дисциплинарные батальоны, тюрьмы, больницы, богадельни и приюты. Эти сети вполне сложились уже в начале XIX века: «Наши благотворительные заведения представляют собой превосходно согласованное целое, благодаря которому нуждающийся ни на миг не остается без помощи от колыбели до могилы. Посмотрите на обездоленного: вы увидите, что он рождается подкидышем, попадает в ясли, потом в приют, шести лет поступает в начальную школу, позднее – в школу для взрослых. Если он не может работать, то его берут на заметку в окрестном благотворительном бюро, а если заболеет, то может выбирать из 12 больниц... Наконец, когда парижский бедняк подходит к концу жизненного пути, его старости дожидаются 7 богаделен, и зачастую благодаря их целительному режиму его никчемное существование длится куда дольше, чем жизнь богачей»[579].

Карцерная сеть не бросает неассимилируемого в смутный ад, у нее нет «снаружи». Одной рукой она, кажется, берет то, что отталкивает другой. Она накапливает все, даже то, что наказывает. Она не хочет терять даже то, что считает негодным. В паноптическом обществе, всецело сцепляющей арматурой которого является тюремное заключение, делинквент не находится вне закона; он с самого начала находится в законе, в самом сердце закона или по крайней мере в центре тех механизмов, что незаметно обеспечивают переход от дисциплины к закону, от отклонения к правонарушению. И хотя верно, что тюрьма наказывает делинквентность, эта последняя формируется главным образом в тюремном заключении и благодаря ему. Тюрьма, в свою очередь, увековечивает заключение. Тюрьма – лишь естественное следствие, не более чем высшая ступень этой устанавливаемой шаг за шагом иерархии. Делинквент – продукт института тюрьмы. И не следует удивляться тому, что во многих случаях биография осужденных проходит через все механизмы и учреждения, которые призваны, как принято думать, уводить прочь от тюрьмы. Тому, что в их биографиях можно усмотреть, так сказать, свидетельство неисправимо преступного «характера»: заключенный (например, тюрьмы города Манд), обреченный на тяжелый труд, был заботливо создан детством, проведенным в исправительной колонии согласно силовым линиям обобщенной карцерной системы. Напротив, лиризм маргинальности может черпать вдохновение в образе «человека вне закона», великого социального кочевника, рыщущего на задворках послушного, напуганного порядка. Но преступность рождается не на границах общества и не путем целенаправленных изгнаний, а посредством все более плотных встраиваний, под все более неотступным надзором, благодаря накоплению дисциплинарного принуждения. Словом, карцерный архипелаг обеспечивает, в глубинах тела общества, формирование делинквентности на основе мелких противозаконностей, наложение первой на последние и установление предопределенной преступности.

Но, пожалуй, самый важный результат карцерной системы и ее распространения далеко за границы законного заключения – то, что ей удастся сделать власть наказывать естественной и легитимной, по крайней мере понижая порог терпимости к наказанию. Она сглаживает все, что может казаться чрезмерным в отправлении наказания. Ведь она играет в двух регистрах, в которых сама разворачивается: в законном регистре правосудия и внезаконном регистре дисциплины. В самом деле, великая непрерывность карцерной системы с обеих сторон – закона и его приговоров – обеспечивает определенную правовую поддержку дисциплинарным механизмам, приводимым ими в исполнение судебным решениям и санкциям. От начала до конца этой сети, охватывающей столь многочисленные относительно анонимные и независимые «региональные» институты, с «тюрьмой как формой» передается модель великого правосудия. Установления дисциплинарных институтов воспроизводят закон, наказания имитируют приговоры и кары, надзор повторяет полицейскую модель, а над всеми этими многочисленными учреждениями возвышается тюрьма, которая, будучи их чистой и несмягченной формой, оказывает им своего рода государственную поддержку. Карцерное с его постепенным переходом от каторги или тюремного заключения к диффузным и легким ограничениям свободы сообщает определенный тип власти, утверждаемой законом и используемой правосудием как излюбленное оружие. Как могут казаться самочинными дисциплины и функционирующая в них власть, если они лишь приводят в действие механизмы самого правосудия, рискуя смягчить их интенсивность? Если они распространяют следствия правосудия и передают их до самых последних звеньев, позволяя избежать его строгости? Непрерывность карцера и распространение тюрьмы как формы позволяют легализовать или, во всяком случае, узаконить дисциплинарную власть, избегающую таким образом малейшей чрезмерности или возможных злоупотреблений ею.

Но напротив, карцерная пирамида дает власти налагать законные наказания контекст, где та предстает свободной от всякой чрезмерности и насилия. В тонкой, постепенной градации дисциплинарных аппаратов и предполагаемых ими «встраиваний» тюрьма отнюдь не является разгулом власти другого рода, а представляет собой просто дополнительную степень интенсивности механизма, который продолжает работать начиная с самых первых наказаний. Разница между новейшим «исправительным» заведением, куда помещают вместо тюрьмы, и тюрьмой, куда отправляют после явного правонарушения, едва ощутима (и должна быть таковой). Строгая экономия, в результате которой особая власть наказывать становится максимально незаметной. Отныне ничто в ней не напоминает о прежней чрезмерности суверенной власти, выказывающей свою силу на казнимых телах. Тюрьма продолжает – над теми, кто ей вверен, – работу, начавшуюся в другом месте и производимую всем обществом над каждым индивидом посредством бесчисленных дисциплинарных механизмов. Благодаря карцерному континууму инстанция, выносящая приговоры, проникает во все те другие инстанции, которые контролируют, преобразуют, исправляют и улучшают. Можно даже сказать, что на самом деле она отличается от них разве что особо «опасным» характером делинквентов, серьезностью их отклонений от нормы и необходимой торжественностью ритуала. Но по своей функции власть наказывать в сущности не отличается от власти лечить или воспитывать. Она получает от них и от их второстепенной, менее значительной задачи поддержку снизу, которая не становится от

этого менее важной, поскольку удостоверяет ее метод и рациональность. Карцерное натурализует законную власть наказывать, точно так же, как «легализует» техническую власть дисциплинировать. Приводя их таким образом к однородности, изглаживая насильственное в одной и самочинное в другой, смягчая последствия бунта, который обе они могут вызывать, а значит, делая бесполезными их ожесточение и неистовство, передавая от одной к другой одни и те же рассчитанные, механические и незаметные методы, карцер позволяет осуществлять ту великую «экономия» власти, формулу которой искал XVIII век, когда впервые встала проблема аккумуляции людей и полезного управления ими.

Действуя по всей толщине общественного тела и беспрестанно смешивая искусство исправления с правом наказывать, всеобщность карцера понижает уровень, начиная с которого становится естественным и приемлемым быть наказанным. Часто спрашивают, почему до и после Революции был подведен новый фундамент под право наказывать. И, несомненно, ответ следует искать в теории договора. Но важнее, пожалуй, задать обратный вопрос: как людей заставили признать власть наказывать или, если сказать совсем просто, терпеливо переносить наказание? Теория договора может ответить на этот вопрос лишь фикцией юридического субъекта, дающего другим власть осуществлять над ним то право, каким он и сам обладает по отношению к ним. В высшей степени вероятно, что огромный карцерный континуум, обеспечивающий сообщение между властью дисциплины и властью закона и простирающийся неразрывно от малейших принуждений до самого длительного карательного заключения, образовал технический и реальный, непосредственно материальный дубликат этой химерической передачи права наказывать.

4

Благодаря новой экономии власти карцерная система, являющаяся ее основным инструментом, сделала возможным возникновение новой формы «закона»: смеси законности и природы, предписания и телосложения – нормы. Отсюда целый ряд последствий: внутреннее расслоение судебной власти или по крайней мере ее функционирования; все более трудная работа судей, которые словно стыдятся выносить приговор; яростное желание судей измерять, оценивать, диагностировать, распознавать нормальное и ненормальное; претензии их на заслугу исцеления или перевоспитания. Ввиду всего этого бессмысленно верить в чистые или дурные намерения судей или даже их подсознания. Их огромная «тяга к медицине» – которая постоянно проявляется и в обращении к специалистам-психиатрам, и во внимании к криминологической болтовне, – выражает тот главный факт, что отправляемая ими власть «утратила естественные свойства»; что на определенном уровне она управляется законами; что на другом, и более фундаментальном, уровне она действует как нормативная власть; они осуществляют именно экономию власти, а не экономию своих угрызений совести или гуманизма, и именно первая заставляет их выносить «терапевтические» приговоры и постановления о «реадаптационном» заключении. Но, наоборот, если судьи все с меньшей готовностью приговаривают ради приговора, то судебная деятельность возрастает точно в той мере, в какой распространяется нормализующая власть. Поддерживаемая вездесущностью дисциплинарных устройств, опирающаяся на все карцерные механизмы, нормализующая власть становится одной из основных функций нашего общества. Судьи нормальности

окружают нас со всех сторон. Мы живем в обществе учителя-судьи, врача-судьи, воспитателя-судьи и «социального работника»-судьи; именно на них основывается повсеместное господство нормативного; каждый индивид, где бы он ни находился, подчиняет ему свое тело, жесты, поведение, поступки, способности и успехи. Карцерная сеть в ее компактных или рассеянных формах, с ее системами встраивания, распределения, надзора и наблюдения является в современном обществе великой опорой для нормализующей власти.

5

Карцерная ткань общества обеспечивает как реальное присвоение тела, так и постоянное наблюдение за ним. По своим внутренним свойствам она является аппаратом наказания, самым совершенным образом отвечающим новой экономии власти, и инструментом формирования знания, в котором нуждается эта экономия. Ее паноптическое функционирование позволяет ей играть эту двойную роль. Благодаря своим методам закрепления, распределения, записи и регистрации она долгое время остается одним из наиболее простых, примитивных, наиболее материальных, но, пожалуй, и самых необходимых условий чрезвычайного развития и распространения экзамена, объективирующего человеческое поведение. Если после века «инквизиторского» правосудия мы вступили в эпоху правосудия «экзаменационного», если, еще более общим образом, метод экзамена смог столь широко распространиться по всему обществу и в какой-то мере дать начало гуманитарным наукам, то одним из основных инструментов этого были множественность и тесное взаимоналожение различных механизмов заключения. Я не говорю, что гуманитарные науки возникли из тюрьмы. Но если они смогли образоваться и произвести во всей структуре (episteme) знания известные глубокие изменения, то потому, что они были сообщены специфической и новой модальностью власти: определенной политикой тела, определенным методом, позволяющим сделать массу людей послушной и полезной. Эта политика требовала включения определенных отношений знания в отношения власти; она нуждалась в технике частичного взаимоналожения подчинения и объективации (*assujettissement et objectivation*); она принесла с собой новые процедуры индивидуализации. Карцерная сеть образует один из остовов этой: власти – знания, сделавшей исторически возможными гуманитарные науки. Познаваемый человек (как бы его ни называли – душой, индивидуальностью, сознанием, поведением) является объектом – следствием этого аналитического захвата, этого господства – наблюдения.

6

Несомненно, это объясняет удивительную прочность тюрьмы – нехитрого изобретения, которое тем не менее бранили с самого рождения. Если бы она была лишь инструментом отторжения или подавления в руках государственного аппарата, то было бы куда легче изменить ее слишком заметные формы или найти ей более приемлемую замену. Но, глубоко укорененная в механизмах и стратегиях власти, она могла ответить на любую попытку преобразования огромной силой инерции. Характерно одно обстоятельство: когда заходит речь об изменении режима заключения, противодействие исходит не только от судебного института; сопротивление оказывает не тюрьма как уголовное наказание, а тюрьма со всеми ее установлениями, связями и внесудебными следствиями; тюрьма как узловая точка

в общей сети дисциплин и надзоров; тюрьма, поскольку она функционирует в паноптическом режиме. Это не означает ни того, что она не может быть изменена, ни того, что она раз и навсегда необходима для такого общества, как наше. Наоборот, можно выделить два процесса, которые в самой непрерывности процессов, обеспечивающих функционирование тюрьмы, способны серьезно ограничить ее применение и преобразовать ее внутреннее функционирование. И, несомненно, эти процессы в значительной степени уже начались. Первый из них снижает полезность (или увеличивает неудобства) делинквентности, устроенной как особая противозаконность, замкнутая и контролируемая; так, образование крупных противозаконностей в государственном или международном масштабе, которые непосредственно связаны с политическими и экономическими аппаратами (таковы финансовые противозаконности, службы разведки, торговля оружием и наркотиками, спекуляция недвижимостью), делает очевидной неэффективность несколько грубой и бросающейся в глаза рабочей силы делинквентности. Или еще, уже в меньшем масштабе: поскольку экономическое обложение сексуального наслаждения осуществляется более действенно путем продажи противозачаточных средств или косвенно через книги, фильмы и спектакли, архаичная иерархия проституции в значительной мере утрачивает прежнюю полезность. Второй из упомянутых процессов – рост дисциплинарных сетей, умножение их обменов с уголовно-правовым аппаратом, придание им все более важных полномочий, все более массовая передача им судебных функций. Поскольку медицина, психология, образование, государственная помощь и «социальная работа» все больше участвуют в контролирующей и наказывающей власти, уголовно-правовая машина, в свою очередь, может принять медицинский, психологический и педагогический характер. Это лишний раз доказывает, что «шарнир» в форме тюрьмы становится менее полезным – как механизм, обеспечивающий, через зазор между пенитенциарным дискурсом и следствием тюрьмы (консолидацией делинквентности), связь между уголовно-правовой властью и дисциплинарной властью. Среди всех этих механизмов нормализации, которые становятся все более строгими в своем применении, специфика тюрьмы и ее связующая роль несколько теряют смысл.

Если можно говорить об общей политической проблеме в связи с тюрьмой, то она заключается не в том, должна ли или не должна тюрьма быть исправительным учреждением; и не в том, кто должен иметь в ней большую власть – судьи, психиатры и социологи или администраторы и надзиратели; и даже не в том, следует ли нам сохранить тюрьму или лучше перейти к другой форме наказания. В настоящее время проблема связана, скорее, с резко возросшим использованием механизмов нормализации, которые чрезвычайно способствуют широкому распространению воздействий власти посредством установления новых объективностей.

* * *

В 1836 г. один корреспондент «La Phalange» писал: «Моралисты, философы, законодатели, льстецы цивилизации, вот ваш план Парижа, аккуратного и приглаженного, вот усовершенствованный план, где все сходные вещи собраны вместе. В центре и в первой городской черте – больницы для лечения всех болезней, богадельни для всевозможной нищеты, сумасшедшие дома, каторжные тюрьмы для мужчин, женщин и детей. По обочине

первого кольца – казармы, суды, полицейское ведомство, жилища надсмотрщиков, площадки для эшафотов, дома палача и его подручных. По четырем углам – палата депутатов, палата пэров, академия и королевский дворец. Снаружи центрального кольца – службы, обеспечивающие его существование: торговля с надувательством и банкротством, промышленность с яростной борьбой, пресса с ложью и увертками, игорные дома; проституция, люди, умирающие от голода или погрязшие в разврате, всегда готовые раскрыть ухо для гласа Гения Революций, бессердечные богачи... Словом, жестокая война всех против всех»[580].

Остановлюсь на этом анонимном тексте. Сегодня мы далеки от страны публичных казней, усеянной колесами, виселицами и позорными столбами. Мы далеки также от мечты, которую лелеяли реформаторы менее чем пятьюдесятью годами ранее: о городе наказаний, где тысячи театриков разыгрывали бы бес конечное многокрасочное представление правосудия, где наказания, воспроизводимые во всех деталях на декоративных эшафотах, создавали бы народное празднество свода законов. Город-карцер с его воображаемой «геополитикой» управляется на совершенно других началах. Выдержка из «La Phalange» напоминает нам важнейшие из них. О том, что в центре этого города и словно для того чтобы удерживать его на месте, находится не «центр власти», не сеть силы, а разветвленная сеть различных элементов – стены, пространство, учреждение, правила, дискурс. Что, следовательно, моделью города-карцера является не тело короля с исходящими от него властями, не объединение волеизъявлений в договоре, рождающее индивидуальное и вместе с тем коллективное тело, но стратегическое распределение элементов различной природы и уровней. Что тюрьма – не дочь законов, кодексов или судебного аппарата; что она не подчиняется суду и не является послушным или негодным инструментом исполнения судебных приговоров или достижения желанных для суда результатов; что как раз суд занимает внешнее и подчиненное положение по отношению к тюрьме. Что в своем центральном положении тюрьма не одинока, но связана с целым рядом других «карцерных» механизмов, которые представляются достаточно самостоятельными (поскольку их назначение – облегчение страданий, лечение и помощь), но которые, подобно тюрьме, все расположены отправлять нормализующую власть. Что эти механизмы применяются не к нарушениям «основного» закона, но к аппарату производства – к «торговле» и «промышленности», – ко всему множеству противозаконностей во всем многообразии их природы и происхождения, их специфической роли в прибыли и в различном отношении к ним карательных механизмов. И что в конечном счете главное для всех этих механизмов – не унитарное функционирование аппарата или института, а необходимость борьбы и правила стратегии. Что, следовательно, понятия институтов репрессии, отторжения, исключения и маргинализации непригодны для описания образования, в самом сердце города-карцера, коварной мягкости, неявных колкостей, мелких хитростей, рассчитанных методов, техник, наконец, «наук», позволяющих создать дисциплинарного индивида. В этом центральном и централизованном человечестве, результате и инструменте сложных отношений власти, в телах и силах, подчиненных многочисленным механизмам «заклучения», в объектах дискурсов, которые сами являются элементами этой стратегии, мы должны слышать далекий гул сражения[581].